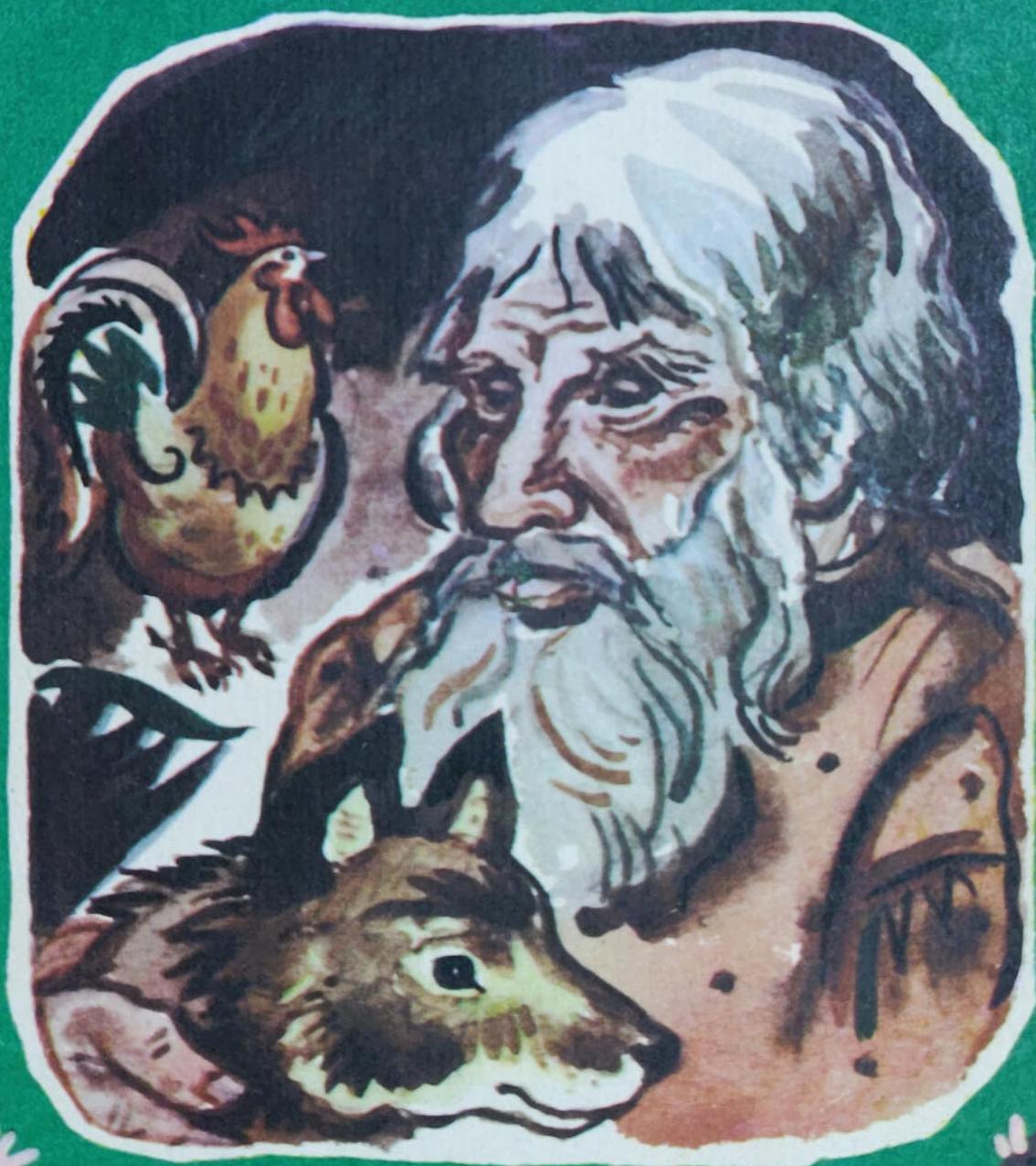


Д. Н. Мамин-Сибиряк

Зимовье на Студёной



Н. Д. Мамин-Сибиряк

Зимовье на Студёной

Рассказы и сказка

МИНСК «ЮНАЦТВА» 1984

Художник Е. Г. Лось



ЕМЕЛЯ-ОХОТНИК

I

Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой лесной глуши спряталась деревушка Тычки. В ней всего одиннадцать дворов, собственно десять, потому что одиннадцатая избушка стоит совсем отдельно, но у самого леса. Кругом деревни зубчатой стеной поднимается вечнозелёный хвойный лес. Из-за верхушек елей и пихт можно разглядеть несколько гор, которые точно нарочно обошли Тычки со всех сторон громадными синевато-серыми валами. Ближе других стоит к Тычкам горбатая Ручьёва гора с седой мохнатой вершиной, которая в пасмурную погоду совсем прячется в мутных, серых облаках. С Ручьёвой горы сбегает много ключей и ручейков. Один такой ручейк весело катится к Тычкам и зиму и лето всех поит студёной, чистой, как слеза, водой.

Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как кто хотел. Две избы стоят над самой речкой,

одна — на крутом склоне горы, а остальные разбрелись по берегу, как овцы.

В Тычках даже нет улицы, а между избами колесит избитая тропа. Да тычковским мужикам совсем и улицы, пожалуй, не нужно, потому что и ездить по ней не на чем: в Тычках нет ни у кого ни одной телеги. Летом эта деревушка бывает окружена непроходимыми болотами, топями и лесными трущобами, так что в неё едва можно пройти пешком только по узким лесным тропам, да и то не всегда. В ненастье сильно играют горные речки, и часто случается тычковским охотникам дня по три ждать, когда вода спадёт с них.

Все тычковские мужики — записные охотники. Летом и зимой они почти не выходят из лесу, благо до него рукой подать. Всякое время года приносит с собой известную добычу: зимой бьют медведей, куниц, волков, лисиц; осенью — белку; весной — диких коз; летом — всякую птицу. Одним словом, круглый год стоит тяжёлая и часто опасная работа.

В той избушке, которая стоит у самого леса, живёт старый охотник Емеля с маленьким внуком Гришуткой.

Избушка Емели совсем выросла в землю и глядит на свет божий всего одним окном; крыша на избушке давно прогнила, от трубы остались только обвалившиеся кирпичи. Ни забора, ни ворот, ни сарая — ничего не было у Емелиной избушки. Только под крыльцом из неотёсанных брёвен воеет по ночам голодный Лыско — одна из самых лучших охотничьих собак в Тычках. Перед каждой охотой Емеля три дня морит несчастного Лыска, чтобы он лучше искал дичь и выслеживал всякого зверя.

— Дедко... а дедко!.. — с трудом спрашивал

маленький Гришутка однажды вечером. — Теперь олени с телятами ходят?

— С телятами, Гришук, — ответил Емеля, доплетая новые лапти.

— Вот бы, дедко, телёночка добыть... а?

— погоди, добудем... Жары наступили, олени с телятами в чаще прятаться будут от оводов, тут я тебе и телёночка добуду, Гришук!

Мальчик ничего не ответил, а только тяжело вздохнул. Гришутке всего было лет шесть, и он лежал теперь второй месяц на широкой деревянной лавке под тёплой оленьей шкурой.

Мальчик простудился еще весной, когда таял снег, и всё не мог поправиться. Его смуглое личико побледнело и вытянулось, глаза сделались больше, нос обострился. Емеля видел, как внучонок таял не по дням, а по часам, но не знал, чем помочь горю. Поил какой-то травой, два раза носил в баню, — больному не делалось лучше. Мальчик почти ничего не ел. Пожует корочку чёрного хлеба и только. Оставалась от весны солёная козлятина, но Гришук и смотреть на неё не мог.

«Ишь чего захотел: телёночка... — думал старый Емеля, доковыривая свой лапоть. — Ужо надо добыть».

Емеле было лет семьдесят: седой, сгорбленный, худой, с длинными руками. Пальцы на руках у Емели едва разгибались, точно это были деревянные сучья. Но ходил он ещё бодро и кое-что добывал охотой. Только вот глаза сильно начали изменять старику, особенно зимой, когда снег искрится и блестит кругом алмазной пылью. Из-за Емелиных глаз и труба развалилась, и крыша прогнила, и сам он сидит частенько в своей избушке, когда другие в лесу.

Пора старику и на покой, на тёплую печку,

да замениться некем, а тут вот ещё Гришутка на руках очутился, о нём нужно позаботиться...

Отец Гришутки умер три года назад от горячки, мать заели волки, когда она с маленьким Гришуткой зимним вечером возвращалась из деревни в свою избу. Ребёнок спасся каким-то чудом. Мать, пока волки грызли ей ноги, закрыла ребёнка своим телом, и Гришутка остался жив.

Старому деду пришлось выращивать внука, а тут ещё болезнь приключилась. Беда не приходит одна...

II

Стояли последние дни июня месяца, самое жаркое время в Тычках. Дома оставались только старые да малые. Охотники давно разбрелись по лесу за оленями. В избушке Емели бедный Лыско уже третий день завывал от голода, как волк зимой.

— Видно, Емеля на охоту собрался,— говорили в деревне бабы.

Это была правда. Действительно, Емеля скоро вышел из своей избушки с кремнёвой винтовкой в руке, отвязал Лыска и направился к лесу. На нём были новые лапти, котомка с хлебом за плечами, рваный кафтан и тёплая оленья шапка на голове. Старик давно уже не носил шляпы, а зиму и лето ходил в своей оленьей шапке, которая отлично защищала его лысую голову от зимнего холода и от летнего зноя.

— Ну, Гришук, поправляйся без меня...— говорил Емеля внуку на прощание.— За тобой приглядит старуха Маланья, пока я за телёнком схожу.

— А принесёшь телёнка-то, дедко?

— Принесу, сказал.

— Жёлтенького?

— Жёлтенького...

— Ну, я буду тебя ждать... Смотри не промахнись, когда стрелять будешь...

Емеля давно собирался за оленями, да всё жалел бросить внука одного, а теперь ему было как будто лучше, и старик решил попытать счастья. Да и старая Маланья поглядит за мальчонком — всё же лучше, чем лежать одному в избушке.

В лесу Емеля был как дома. Да и как ему не знать этого леса, когда он целую жизнь бродил по нём с ружьём да с собакой. Все тропы, все приметы — всё знал старик на сто вёрст кругом.

А теперь, в конце июня, в лесу было особенно хорошо: трава красиво пестрела распустившимися цветами, а в воздухе стоял чудный аромат душистых трав, а с неба глядело ласковое летнее солнышко, обливавшее ярким светом и лес, и траву, и журчавшую в осоке речку, и далёкие горы.

Да, чудно и хорошо было кругом, и Емеля не раз останавливался, чтобы перевести дух и оглянуться назад.

Тропинка, по которой он шёл, змейкой взбиралась на гору, минуя большие камни и крутые уступы.

Крупный лес был вырублен, а около дороги ютились молодые берёзки, кусты жимолости, и зелёным шатром раскидывалась рябина. Там и сям попадались густые перелески из молодого ельника, который зелёной щёткой вставал по сторонам дороги и весело топорщился лапистыми и мохнатыми ветвями.

В одном месте, с половины горы, открывался

широкий вид на далёкие горы и на Тычки. Деревушка совсем спряталась на дне глубокой горной котловины, и крестьянские избы казались отсюда чёрными точками. Емеля, заслонив глаза от солнца, долго глядел на свою избушку и думал о внучке.

— Ну, Лыско, ищи... — говорил Емеля, когда они спустились с горы и повернули с тропы в сплошной дремучий ельник.

Лыску не нужно было повторять приказание. Он отлично знал своё дело и, уткнув свою острую морду в землю, исчез в густой зелёной чаще. Только на время мелькнула его спина с жёлтыми пятнами.

Охота началась.

Громадные ели поднимались высоко к небу своими острыми вершинами. Мохнатые ветви переплетались между собой, образуя над головой охотника непроницаемый тёмный свод, сквозь который только кое-где весело глянет солнечный луч и золотым пятном обожжет желтоватый мох или широкий лист папоротника. Трава в таком лесу не растёт, и Емеля шёл по мягкому желтоватому мху, как по ковру.

Несколько часов брёл охотник по этому лесу. Лыско точно в воду канул. Только изредка хрустнет ветка под ногой или перелетит пёстрый дятел. Емеля внимательно осматривал всё кругом: нет ли где какого-нибудь следа, не сломал ли олень рогами ветки, не отпечаталось ли на мху раздвоенное копыто, не объедена ли трава на кочках.

Начало темнеть. Старик почувствовал усталость. Нужно было думать о ночлеге.

«Вероятно, оленей распугали другие охотники», — думал Емеля.

Но вот послышался слабый визг Лыска, и

впереди затрещали ветки. Емеля прислонился к стволу ели и ждал.

Это был олень. Настоящий десятирогий красавец олень, самое благородное из лесных животных. Вон он приложил свои ветвистые рога к самой спине и внимательно слушает, обнюхивая воздух, чтобы в следующую минуту молнией пропасть в зелёной чаще.

Старый Емеля завидел оленя, но он слишком далеко от него: не достать его пулей. Лыско лежит в чаще и не смеет дохнуть в ожидании выстрела; он слышит оленя, чувствует его запах...

Вот грянул выстрел, и олень, как стрела, понёсся вперёд. Емеля промахнулся, а Лыско взвыл от забиравшего его голода. Бедная собака уже чувствовала запах жареной оленины, видела аппетитную кость, которую ей бросит хозяин, а вместо этого приходится ложиться спать с голодным брюхом. Очень скверная история...

— Ну, пусть его погуляет, — рассуждал вслух Емеля, когда вечером сидел у огонька под густой столетней елью. — Нам надо телёночка добывать, Лыско... Слышишь?

Собака только жалобно виляла хвостом, положив острую морду между передними лапами. На её долю сегодня едва выпала одна сухая корочка, которую Емеля бросил ей.

III

Три дня бродил Емеля по лесу с Лыском и всё напрасно: оленя с телёнком не попадалось.

Старик чувствовал, что выбивается из сил, но вернуться домой с пустыми руками не решался. Лыско тоже приуныл и совсем отощал, хотя и успел перехватить пару молодых зайчат.

Приходилось заночевать в лесу у огонька

третью ночь. Но и во сне старый Емеля всё видел жёлтенького телёнка, о котором его просил Гришук; старик долго выслеживал свою добычу, прицеливался, но олень каждый раз убегал от него из-под носу. Лыско тоже, вероятно, бредил оленями, потому что несколько раз во сне взвизгивал и принимался глухо лаять.

Только на четвёртый день, когда и охотник и собака совсем выбились из сил, они совершенно случайно попали на след оленя с телёнком. Это было в густой еловой заросли на скате горы. Прежде всего Лыско отыскал место, где ночевал олень, а потом разнюхал и запутанный след в траве.

«Матка с телёнком,— думал Емеля, разглядывая на траве следы больших и маленьких копыт.— Сегодня утром были здесь... Лыско, ищи, голубчик!..»

День был знойный. Солнце палило нещадно. Собака обнюхивала кусты и траву с высунутым языком; Емеля едва таскал ноги. Но вот знакомый треск и шорох... Лыско упал на траву и не шевелился. В ушах Емели стоят слова внучка: «Дедко, добудь телёнка... И непременно, чтоб был жёлтенький». Вон и матка... Это был великолепный олень-самка. Он стоял на опушке леса и пугливо смотрел прямо на Емелю. Кучка жужжавших насекомых кружилась над оленем и заставляла его вздрагивать.

«Нет, ты меня не обманешь...»,— думал Емеля, выползая из своей засады.

Олень давно почуял охотника, но смело следил за его движениями.

«Это матка меня от телёнка отводит»,— думал Емеля, подползая всё ближе и ближе.

Когда старик хотел прицелиться в оленя, он осторожно перебежал несколько сажен далее и

опять остановился. Емеля снова подполз со своей винтовкой. Опять медленное подкрадывание, и опять олень скрылся, как только Емеля хотел стрелять.

— Не уйдёшь от телёнка,— шептал Емеля, терпеливо выслеживая зверя в течение нескольких часов.

Эта борьба человека с животным продолжалась до самого вечера. Благородное животное десять раз рисковало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятавшегося оленёнка; старый Емеля и сердился и удивлялся смелости своей жертвы. Ведь всё равно она не уйдёт от него... Сколько раз приходилось ему убивать таким образом жертвовавшую собой мать. Лыско, как тень, ползал за хозяином и, когда тот совсем потерял оленя из виду, осторожно ткнул его своим горячим носом.

Старик оглянулся и присел. В десяти саженях от него, под кустом жимолости, стоял тот самый жёлтенький телёнок, за которым он бродил целых три дня. Это был прехорошенький оленёнок, всего нескольких недель, с жёлтым пушком и тоненькими ножками; красивая головка была откинута назад, и он вытягивал тонкую шею вперёд, когда старался захватить веточку повыше. Охотник с замирающим сердцем взвёл курок винтовки и прицелился в голову маленькому, беззащитному животному...

Ещё одно мгновение, и маленький оленёнок покатился бы по траве с жалобным предсмертным криком; но именно в это мгновение старый охотник припомнил, с каким геройством защищала телёнка его мать, припомнил, как мать его Гришутки спасла сына от волков своей жизнью... Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он опустил ружьё.

Оленёнок по-прежнему ходил около куста, общипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху. Емеля быстро поднялся и свистнул,— маленькое животное скрылось в кустах с быстротой молнии.

— Ишь какой бегун...— говорил старик, задумчиво улыбаясь.— Только его и видел: как стрела... Ведь убежал, Лыско, наш оленёнок-то! Ну, ему, бегуну, ещё надо подрасти... Ах ты, какой шустрый!..

Старик долго стоял на одном месте и всё улыбался, припоминая бегуна.

На другой день Емеля подходил к своей избушке.

— А... дедко, принёс телёнка? — встретил его Гриша, ждавший всё время старика с нетерпением.

— Нет, Гришук... видел его...

— Жёлтенький?

— Жёлтенький сам, а мордочка чёрная. Стоит под кустиком и листочки пощипывает... Я прицелился...

— И промахнулся?

— Нет, Гришук: пожалел малого зверя... матку пожалел... Как свистну, а он, телёнок-то, как стреканёт в чащу,— только его и видели. Убежал, пострел этакий...

Старик долго рассказывал мальчику, как он искал телёнка по лесу три дня и как тот убежал от него.

Мальчик слушал и весело смеялся вместе с старым дедом.

— А я тебе глухаря принёс, Гришук,— прибавил Емеля, кончив рассказ.— Этого всё равно волки бы съели.

Глухарь был ошипан, а потом попал в горшок. Большой мальчик с удовольствием поел



глухариной похлёбки и, засыпая, несколько раз спрашивал старика:

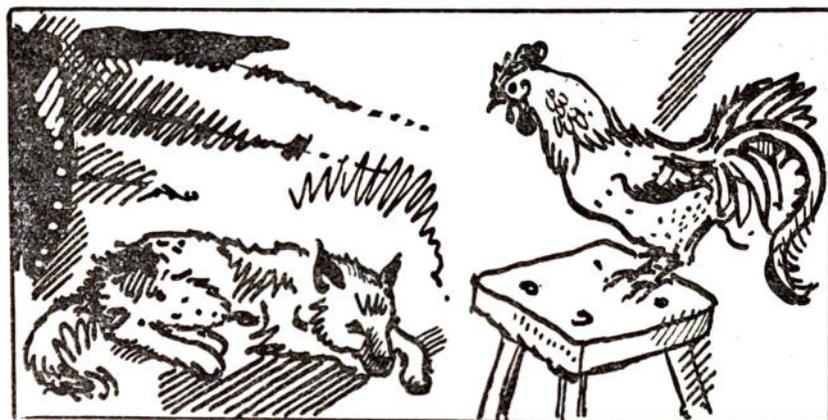
— Так он убежал, оленёнок-то?

— Убежал, Гришук...

— Жёлтенький?

— Весь жёлтенький, только мордочка чёрная да копытца.

Мальчик так и уснул и всю ночь видел маленького жёлтенького оленёнка, который весело гулял по лесу со своей матерью; а старик спал на печке и тоже улыбался во сне.



ЗИМОВЬЕ НА СТУДЕНОЙ

I

Старик лежал на своей лавочке, у печи, закрывшись старой дохой¹ из вылезших оленьих шкур. Было рано или поздно — он не знал, да и знать не мог, потому что светало поздно, а небо ещё с вечера было затянуто низкими осенними тучами. Вставать ему не хотелось: в избушке было холодно, а у него уже несколько дней болели и спина и ноги. Спать он тоже не хотел, а лежал так, чтобы провести время. Да и куда ему было торопиться?

Его разбудило осторожное царапанье в дверь, — это просился Музгарко, небольшая пёстрая вогульская² собака, жившая в этой избушке уже лет десять.

¹ Доха — шуба.

² Вогульская — здесь: принадлежавшая вогулу. До революции вогулами назывались народности манси, живущие в Ханты-Мансийском национальном округе Тюменской области.

— Я вот тебе задам, Музгарко! — заворчал старик, кутаясь в свою доху с головой.— Ты у меня поцарапайся...

Собака на время перестала скоблить дверь своей лапой и потом вдруг взвыла протяжно и жалобно.

— Ах, штоб тебя волки съели!.. — обругался старик, поднимаясь с лавки.

Он в темноте подошёл к двери, отворил её и всё понял — отчего у него болела спина и отчего завывала собака. Всё, что можно было рассмотреть в приотворенную дверь, было покрыто снегом. Да, он ясно теперь видел, как в воздухе кружилась живая сетка из мягких, пушистых снежинок. В избе было темно, а от снега всё видно — и зубчатую стенку стоявшего за рекой леса, и надувшуюся почерневшую реку, и каменистый мыс, выдававшийся в реку круглым уступом.

Умная собака сидела перед раскрытой дверью и такими умными, говорящими глазами смотрела на хозяина.

— Ну, што же, значит, конец! — ответил ей старик на немой вопрос собачьих глаз.— Ничего, брат, не поделаешь... Шабаш!

Собака вильнула хвостом и тихо взвизгнула тем ласковым визгом, которым встречала одного хозяина.

— Ну, шабаш, ну, што поделаешь, Музгарко! Прокатилось наше красное летечко, а теперь заляжем в берлоге...

На эти слова последовал лёгкий прыжок, и Музгарко очутился в избушке раньше хозяина.

— Не любишь зиму, а? — разговаривал старик с собакой, растопляя старую печь, сложенную из дикого камня.— Не нравится, а?

Колебавшееся в челе печки пламя осветило

лавочку, на которой спал старик, и целый угол избушки. Из темноты выступали закопчённые брёвна, покрытые кое-где плесенью, развешанная в углу сеть, недоконченные новые лапти, несколько беличьих шкур, болтавшихся на деревянном крюку, а ближе всего сам старик — сгорбленный, седой, с ужасным лицом. Это лицо точно было сдвинуто на одну сторону, так что левый глаз вытек и закрылся припухшим веком. Впрочем, безобразие отчасти скрадывалось седой бородой. Для Музгарки старик не был ни красив, ни некрасив.

Пока старик растоплял печь, уже рассвело. Серое зимнее утро занялось с таким трудом, точно невидимому солнцу было больно светить. В избушке едва можно было рассмотреть дальнюю стену, у которой тянулись широкие нары, устроенные из тяжёлых деревянных плах. Единственное окно, наполовину залепленное рыбьим пузырём, едва пропускало свет.

Музгарко сидел у порога и терпеливо наблюдал за хозяином, изредка виляя хвостом. Но и собачьему терпению бывает конец, и Музгарко опять слабо взвизгнул.

— Сейчас, не торопись,— ответил ему старик, придвигая к огню чугунный котелок с водой.— Успеешь...

Музгарко лёг и, положив остромордую голову в передние лапы, не спускал глаз с хозяина. Когда старик накинул на плечи дырявый пониток¹, собака радостно залаяла и бросилась в дверь.

— То-то вот у меня поясница третий день болит,— объяснил старик собаке на ходу.— Оно

¹ Пониток — одежда из крестьянского (домотканого) полусукна.

и вышло, што к ненастью. Вона как снежок подваливает...

За одну ночь всё кругом совсем изменилось,— лес казался ближе, река точно сузилась, а низкие зимние облака ползли над самой землёй и только не цеплялись за верхушки елей и пихт. Вообще вид был самый печальный, а пушинки снега продолжали кружиться в воздухе и беззвучно падали на помертвевшую землю.

Старик оглянулся назад, за свою избушку — за ней уходило ржавое болото, чуть тронутое кустиками и жёсткой болотной травой. С небольшими перерывами это болото тянулось вёрст на пятьдесят и отделяло избушку от всего живого мира. А какая она маленькая показалась теперь старику, эта избушка, точно за ночь выросла в землю...

К берегу была причалена лодка-душегубка. Музгарко первый вскочил в неё, опёрся передними лапами на край и зорко посмотрел вверх реки, туда, где выдавался мыс, и слабо взвизгнул.

— Чему обрадовался спозаранку? — окликнул его старик. — Погоди, может, и нет ничего...

Собака знала, что есть, и опять взвизгнула: она видела затонувшие поплавки закинутой в омуте снасти. Лодка полетела вверх по реке около самого берега. Старик стоял на ногах и гнал лодку вперёд, подпираясь шестом. Он тоже знал по визгу собаки, что будет добыча. Снасть, действительно, огрузла¹ самой серединой, и, когда лодка подошла, деревянные поплавки повело книзу.

— Есть, Музгарко...

¹ О г р у з л а (огрузнуть) — опустилась на дно реки.

Снасть состояла из брошенной поперёк реки бечевы с поводками из тонких шнуров и волосяной леси. Каждый поводок заканчивался острым крючком. Подъехав к концу снасти, старик осторожно начал выбирать её в лодку. Добыча была хорошая: два больших сига, несколько судаков, щука и целых пять штук стерлядей.

Щука попалась большая, и с ней было много хлопот. Старик осторожно подвёл её к лодке и сначала оглушил своим шестом, а потом уже вытащил. Музгарко сидел в носу лодки и внимательно наблюдал за работой.

— Любишь стерлядку? — дразнил его старик, показывая рыбу. — А ловить не умеешь... Погоди, заварим сегодня уху. К ненастью рыба идёт лучше на крюк... В омуте она теперь сбивается на зимнюю лежанку, а мы её из омута и будем добывать: вся наша будет. Лучить¹ уже поедим... Ну, а теперь айда домой! Судаков-то подвесим, высушим, а потом купцам продадим...

Старик запасал рыбу с самой весны: часть вялил на солнце, другую сушил в избе, а остатки сваливал в глубокую яму, вроде колодца; эта последняя служила кормом Музгарке. Свежая рыба не переводилась у него целый год, только не хватало у него соли, чтобы её солить, да и хлеба не всегда доставало, как было сейчас. Запас ему оставляли с зимы до зимы.

— Скоро обоз придёт,— объяснил старик собаке. — Привезут нам с тобой и хлеба, и соли, и пороху. Вот только избушка наша совсем развалилась, Музгарко.

¹ Л у ч и т ь — здесь: ловить рыбу в темноте при освещении горящих смолистых щепок.

Осенний день короток. Старик всё время проходил около своей избушки, поправляя и то и другое, чтобы лучше ухорониться на зиму. В одном месте мох вылез из пазов, в другом — бревно подгнило, в третьем — угол совсем осел и, того гляди, отвалится. Давно бы уже новую избушку пора ставить, да одному всё равно ничего не поделать.

— Как-нибудь, может, перебыюсь зиму,— думал старик вслух, постукивая топором в стену.— А вот обоз придёт, так тогда...

Выпавший снег все мысли старика сводил на обоз, который приходил по первопутку, когда вставали реки. Людей он только и видел один раз в году. Было о чём подумать.

Музгарко отлично понимал каждое слово хозяина и при одном слове «обоз» смотрел вверх реки и радостно взвизгивал, точно хотел ответить, что вон, мол, откуда придёт обоз — из-за мыса.

К избе был приделан довольно большой низкий сруб, служивший летом амбаром, а зимой казармой для ночлега ямщиков. Чтобы защититься от зимней непогоды лошадей, старик с осени устраивал около казармы из молодых пушистых пихт большую загородку. Намаются лошади тяжёлой дорогой, запотеют, а ветер дует холодный, особенно с солнцевосхода. Ах, какой бывает ветер! — даже дерево не выносит и поворачивает свои ветви в тёплую сторону, откуда весной летит всякая птица.

Кончив работу, старик сел на обрубок дерева под окном избушки и задумался. Собака села у его ног и положила свою умную голову к нему на колени.

О чём думал старик?

Первый снег всегда и радовал его и наво-

дил тоску, напоминая старое, что осталось вон за теми горами, из которых выбегала река Студёная.

Там у него были и свой дом, и семья, и родные были, а теперь никого не осталось. Всех он пережил, и вот где привёл бог кончить век: умрёт — некому глаза закрыть. Ох, тяжело старое одиночество, а тут лес кругом, вечная тишина, и не с кем слова сказать. Одна отрада оставалась: собака. И любил же её старик гораздо больше, чем любят люди друг друга. Ведь она для него была всё и тоже любила его. Не один раз случалось так, что на охоте Музгарко жертвовал своей собачьей жизнью за хозяина, и уже два раза медведь помял его за отчаянную храбрость.

— А ведь стар ты стал, Музгарко,— говорил старик, глядя собаку по спине.— Вон и спина прямая стала, как у волка, и зубы притупились, и в глазах муть... Эх, старик, старик, съедят тебя зимой волки!.. Пора, видно, нам с тобой и помирать...

Собака была согласна и помирать... Она только теснее прижималась всем телом к хозяину и жалобно моргала.

А он сидел и всё смотрел на почерневшую реку, на глухой лес, зелёной стеной уходивший на сотни вёрст туда, к студёному морю, на чуть брезжившие горы в верховьях Студёной,— смотрел и не шевелился, охваченный своей тяжёлой стариковской думой.

Вот о чём думал старик.

Родился и вырос он в глухой лесной деревушке Чалпан, засевавшей на реке Колве. Место было глухое, лесистое, хлеб не родился, и мужики промышляли кто охотой, кто сплавом леса, кто рыбной ловлей. Деревня была бедная,

как почти все деревни в Чердынском крае, и многие уходили на промысел куда-нибудь на сторону: на солеваренные промыслы в Усолье, на плотбища¹ по реке Вишере, где строились лесопромышленниками громадные баржи, на железные заводы по реке Каме.

Старик тогда был совсем молодым, а звали его по деревне Елеской Шишмарём,— вся семья была Шишмари. Отец промыслял охотой, и Елеска с ним ещё мальчиком прошёл всю Колву. Были они и рябчика, и белку, и куницу, и оленя, и медведя,— что попадёт. Из дому уходили недели на две, на три.

Потом Елеска вырос, женился и зажил своим домом в Чалпане, а сам по-прежнему промыслял охотой. Стала потихоньку у Елески подрастать своя семья — два мальчика да девочка; славные ребятки росли и были бы отцу подмогой на старости лет. Но богу было угодно другое: в холерный год семья Елески вымерла...

Случилось это горе осенью, когда он ушёл с артелью других охотников в горы за оленями. Ушёл он семейным человеком, а вернулся бобылём. Тогда половина народу в Чалпане вымерла: холера прошла на Колву с Камы, куда уходили на сплавы чалпанские мужики. Они и занесли с собой страшную болезнь, которая косила людей, как траву.

Долго горевал Елеска, но во второй раз не женился: поздно было вторую семью завести.

Так он и остался бобылём и пуще прежнего занялся охотой.

В лесу было весело, да и привык уж очень

¹ Плотбище — место на берегу реки, пристань, где строят плоты, баржи, суда.

к такой жизни Елеска. Только и тут стряслась с ним великая беда. Обошел он медвежью берлогу, хорошего зверя подглядел и уже вперед рассчитал, что в Чердыни за медвежью шкуру получит все пять рублей. Не в первый раз выходил на зверя с рогатиной да с ножом, но на этот раз сплеховал: поскользнулась у Елески одна нога, и медведь надел на него. Рассвирепевший зверь обломал охотника на смерть, а лицо сдвинул ударом лапы на сторону. Едва приполз Елеска из лесу домой, и здесь свой знахарь лечил его целых полгода: остался жив, а только сделался уродом. Не мог далеко уходить в лес, как прежде, когда ганивал сохатого на лыжах вёрст по семидесяти, не мог промыслять наравне с другими охотниками,— одним словом, пришла беда неминуемая.

В своей деревне делать Елеске было нечего, кормиться мирским подаяннем не хотел, и отправился он в город Чердынь, к знакомым купцам, которым раньше продавал свою охотничью добычу. Может, место какое-нибудь обыщут Елеске богатые купцы. И нашли.

— Бывал на волоке¹ с Колвы на Печору? — спрашивали его промышленники.— Там на реке Студёной зимовье,— так вот тебе быть там сторожем... Вся работа только зимой: встретить да проводить обозы, а там гуляй себе целый год. Харч мы тебе будем давать, и одежду, и припас всякий для охоты — поблизости от зимовья промыслять можешь.

— Далеконько, ваше степенство... — замялся Елеска.— Во все стороны от зимовья вёрст

¹ Волок — суша между двумя водными путями. В старину через волок перетаскивали суда.

на сто жилья нет, а летом туда и не пройдёшь.

— Уж это твоё дело; выбирай из любых: дома голодать или на зимовье барином жить...

Подумал Елеска и согласился, а купцы высылали ему и харч и одежду только один год. Потом Елеска должен был покупать всё на свои деньги от своей охоты и рыбной ловли на зимовке. Так он и жил в лесу. Год шёл за годом. Елеска состарился и боялся только одного, что придёт смертный час и некому будет его похоронить.

II

До обоза, пока реки ещё не стали, старик успел несколько раз сходить на охоту. Боровой рябчик поспел давно, но бить его не стоило, потому что всё равно сгниёт в тепле. Обозный приказчик всегда покупал у старика рябчиков с особым удовольствием, потому что из этих мест шёл крепкий и белый рябчик, который долго не портился, и это всего важнее, потому что убитые на Студёной рябчики долетали до Парижа. Их скупали купцы в Чердыни, а потом отправляли в Москву, а из Москвы рябчиков везли громадными партиями за границу. Старик на двадцать вёрст от своей избушки знал каждое дерево и с лета замечал все рябиные выводки, где они высиживались, паслись и кормились. Когда выводки поспевали, он знал, сколько штук в каждом, но для себя не прочил ни одного, потому что это был самый дорогой товар, и он получал за него самый дорогой припас — порох и дробь.

Нынешняя охота посчастливилась необыкновенно, так что старик заготовил пар тридцать

ещё до прихода обоза и боялся только одного: как бы не ударила ростепель. Редко случалась такая ростепель на Студёной, но могла и быть.

— Ну, теперь мы с тобой на припас добыли,— объяснял старик собаке, с которой всегда разговаривал, как с человеком.— А пока обоз ходит с хлебом на Печору, мы и харч себе обрабатываем... Главное — соли добыть побольше. Ежели бы у нас с тобой соль была, так богаче бы нас не было вплоть до самой Чердыни.

О соли старик постоянно говорил: «Ах, кабы соль была — не житьё, а рай».

Теперь рыбу ловил только для себя, а остальную сушил,— какая цена такой сушёной рыбе? А будь соль, тогда бы он рыбу солил, как печорские промышленники, и получал бы за неё вдвое больше, чем теперь. Но соль стоила дорого, а запастись её приходилось бы пудов по двадцати,— где же такую уйму деньжищ взять, когда с грехом пополам хватало на харч да на одежду? Особенно жалел старик, когда летним делом, в петровки, убивал оленя: свежее мясо портится скоро — два дня поесть оленины, а потом бросай! Сушёная оленина — как дерево.

Стала и Студёная. Горная холодная вода долго не замерзает, а потом лёд везде проедается полыньями. Это ключи из земли бьют. Запасал теперь старик и свежую рыбу, которую можно было сейчас морозить, как рябчиков. Лиха беда в том, что времени было мало. Того и гляди, что подвалит обоз.

— Скоро, Музгарко, харч нам придёт.

Собственно, хлеб у старика вышел ещё до заморозков, и он подмешивал к остаткам ржаной муки толчёную сухую рыбу. Есть одно мясо или одну рыбу было нельзя. Дня через три

так отобьёт, что потом в рот не возьмёшь. Конечно, самоеды и вогулы питаются одной рыбой, так они к этому привычны, а русский человек — хлебный и не может по-ихнему.

Обоз пришёл совершенно неожиданно. Старик спал ночью, когда заскрипели возы и послышался крик:

— Эй, дедушка, жив ли ты? Прймай гостей... Давно не видались.

Старика больше всего поразило то, что Музгарко прокараулил дорогих, жданных гостей. Обыкновенно он чуял их, когда обоз ещё был версты за две, а нынче не слышал. Он даже не выскочил на улицу, чтобы полаять на лошадей, а стыдливо спрятался под хозяйскую лавку и не подал голоса.

— Музгарко, да ты в уме ли! — удивлялся старик. — Проспал обоз... Ах, нехорошо!

Собака выползла из-под лавки, лизнула его в руку и опять скрылась: она сама чувствовала себя виноватой.

— Эх, стар стал: нюх потерял, — заметил с грустью старик. — И слышит плохо на левое ухо.

Обоз состоял возов из пятидесяти... На Печору чердынские купцы отправляли по первопутку хлеб, соль, разные харчи и рыболовную снасть, а оттуда вывозили свежую рыбу. Дело было самое спешное, чтобы добыть печорскую рыбу раньше других, — шла дорогая печорская сёмга. Обоз должен сломать трудную путину в две недели, и ямщики спали только во время кормёжек, пока лошади отдыхали. Особенно торопились назад, тогда уж и спать почти не приходилось. А дорога через волок была трудная, особенно горами. Дорога скверная, каменная, сани некованные, а по речкам везде наледи да промоины. Много тут погублено хоро-

ших лошадей, а людям приходилось работать, как нигде: вывозить возы в гору на себе, добывать их из воды, вытаскивать из раскатов. Только одни колвинские ямщики и брались за такую проклятую работу, потому что гнала на Печору горькая нужда.

В зимовье на Студёной обоз делал передышку: вместо двухчасовой кормёжки лошади здесь отдыхали целых четыре. Казарму старик подтопил заранее, и ямщики, пустив лошадей к корму, завалились спать на деревянных нарах ямщицким мёртвым сном. Не спал только молодой приказчик, ещё в первый раз ехавший на Печору. Он сидел у старика в избушке и разговаривал.

— И не страшно тебе в лесу, дедушка?

— А чего бояться, Христос с нами! Привычное наше дело. В лесу выросли.

— Да как же не бояться: один в лесу...

— А у меня пёсик есть... Вот вдвоём и коротаем время. По зимам вот волки одолевают, так он мне вперёд рассказывает, когда придут они в гости. Чует... И дошлая: сама поднимает волков. Они бросятся за ней, а я их из ружья... Умнеющая собака: только вот не скажет, как человек. Я с ней всегда разговариваю, а то, пожалуй, и говорить разучишься...

— Откуда же ты такую добыл, дедушка?

— Давно это было, почитай годов с десять. Вот по зиме, этак перед рождеством, выслеживал я в горах лосей... Была у меня собачка, ещё с Колвы привёл. Ну, ничего, правильный пёсик: и зверя брал, и птицу искал, и белку — всё как следует. Только иду я с ним по лесу, и вдруг вот этот Музгарко прямо как выскочит на меня. Даже испугал... Не за обычай это у наших промысловых собак, чтобы к незнакомо-

му человеку ластиться, как к хозяину, а эта так прямо ко мне и бросилась. Вижу, што дело как будто неладно. А он этак смотрит на меня, умненько таково, а сам ведёт всё дальше... И што бы ты думал, братец ты мой, ведь привёл! В логовине¹ этак вижу шалашик из хвои, а из шалашика чуть пар... Подхожу. В шалашике вогул лежит, болен, значит, и от своей артели отстал. Пряменько сказать: помирал человек. На охоте его ухватила немочь, другим-то не ждать. Увидал меня, обрадовался, а сам едва уж языком ворочает. Больше всё руками объяснял. Вот он меня и благословил этим пёсиком... При мне и помер, сердяга, а я его закопал в снегу, заволок хворостом да бревном придавил сверху, штобы волки не съели. А Музгарко, значит, мне достался... Это по речке я его и назвал, где вогул помирал: Музгаркой звать речку, ну, я и собаку так же назвал. И умный пёсик... По лесу идёт, так после него хоть метлой подметай,—ничего не найдёшь. Ты думаешь, он вот сейчас не понимает, што о нём говорят? Всё понимает...

— Зачем он под лавкой-то лежит?

— А устыдился, потому обоз прокараулил. Стар стал... Два раза меня от медведя ухранил: медведь-то на меня, а он его и остановил. Прежде я с рогатиной ходил на медведя, когда ещё в силе был, а как один меня починил, ну, я уж из ружья норовлю его свалить. Тоже его надо умеючи взять: смышлястый зверь.

— Ну, а зимой-то, поди, скучно в избушке сидеть?

— Привышное дело... Вот только праздники когда, так скушновато. Добрые люди в храме

¹ Логовина (лог) — овраг.

божьем, а у меня волки обедню завывают. Ну, я тогда свечку затеплю перед образом и сам службу пою... Со слезами тоже молюсь.

Славный этот приказчик, молодой такой, и всё ему надо знать.

Елеска обрадовался живому человеку и всё рассказывал про свою одинокую жизнь в лесу.

— У меня по весне праздник бывает, милый человек, когда с тёплого моря птица прилетит. И сколько её летит: туча... По Студёной-то точно её насыпано... Всякого сословия птица: и утки, и гуси, и кулики, и чайки, и гагары... Выйдешь на заре, так стон стоит по Студёной. И нет лучше твари, как перелётная птица: самая божья тварь... Большие тыщи вёрст летит, тоже устанет, затощает и месту рада. Прилетела, вздохнула денёк и сейчас гнездо налаживать... А я хожу и смотрю: мне бог гостей прислал. И как наговаривают... Слушаешь, слушаешь, инда слеза проймёт. Любезная тварь — перелётная птица... Я её не трогаю. А когда гнёзда она строит, это ли не божецкое произволение... Человеку так не соорить. А потом матки с выводками на Студёную выплывут... Красота, радость... Плавают, полощутся, гогочут... Неочерпаемо здесь перелётной птицы. Праздником всё летечко прокатится; а к осени начнёт птица грудиться стайками: пора опять в дорогу. И собираются, как люди... Лопочут по-своему, суетятся, молодых учат, а потом и поднялись... Ранним утром снимаются с места; вожак в голове летит. А есть и такие, которые остаются: здоровьем слаба выйдет или позднышки выведутся... Жаль на них глядеть. Кричат, бедные, когда мимо них стая за стайей летит. На Студёной всё околачиваются. Плавают-плавают, пока забереги настынут, потом в полыньях кружат-

ся... Ну, этих уж я из жалости пришибу. Што ей маяться-то, всё равно сгибнет... Лебеди у меня тут в болоте гнёзда вьют. Всякой твари своё произволение, свой предел... Одного только у меня не хватает, родной человек: который год прошу ямщиков, чтобы петушка мне привезли... Зимой-то ночи длинные, конца нет, а петушок-то и сказал бы, который час на дворе.

— В следующий раз я тебе привезу самого горластого, дедушка: как дьякон будет орать.

— Ах, родной, то-то уважил бы старика... Втроём бы мы вот как зажили! Скучно, когда по зимам мёртвая тишь встанет, а тут бы петушок, глядишь, и взвеселил... Тоже не простая тваринка, петушок-то; другой такой нет, чтобы часы сказывала. На потребу человеку петушок сотворён.

Приказчика звали Флегонтом. Он оставил старому Елеске и муки, и соли, и новую рубаху, и пороху, а на обратном пути с Печоры привёз подарок.

— Я тебе часы привёз, дедушка,— весело говорил он, подавая мешок с петухом.

— Ах, кормилец, ах, родной... Да как я тебя благодарить буду? Ну, пошли тебе бог всего, чего сам желаешь. Поди, и невеста где-нибудь подгляжена, так любовь да совет...

— Есть такой грех, дедушка,— весело ответил Флегонт, встряхивая русыми кудрями.— Есть в Чердыни два светлых глаза: посмотрели они на меня, да и заворожили... Ну, оставайся с богом.

— Соболька припасу твоей невесте на будущую осень, как опять поедешь на Печору. Есть у меня один на примете.

Ушёл обоз в обратный путь, и остался старик с петушком. Радости-то сколько!.. Пёстренький петушок, гребешок красненький — ходит по избешке, каждое пёрышко играет. А ночью как гаркнет... То-то радость и утешение! Каждое утро стал Елеска теперь разговаривать со своим петушком, и Музгарко их слушает.

— Што, завидно тебе, старому? — дразнит Елеска собаку.— Только твоего и ремесла, што лаять... А вот ты по-петушину спой!

Заметил старик, как будто заскучал Музгарко. Понурый такой ходит...

Неможется что-то собаке. Должно полагать, ямщики сглазили.

— Музгарушко, да што это с тобой попричилось¹? Где болит?

Лежит Музгарко под лавкой, положил голову между лапами и только глазами моргает. Всполошился старик: накатила беда неожиданная. А Музгарко всё лежит, не ест, не пьёт и голосу не подаёт.

— Музгарушко, милый!

Вильнул хвостом Музгарко, подполз к хозяину, лизнул руку и тихо взвыл. Ох, плохо дело!..

III

Ходит ветер по Студёной, наметает саженные сугробы снега, завывает в лесу, точно голодный волк, избежка Елески совсем потонула в снегу. Торчит без малого одна труба да вьётся из неё синяя струйка дыма...

Воет пурга уже две недели, две недели не выходит из своей избежки старик и всё сидит

¹ Попричилось — здесь: случилось.

над больной собакой. А Музгарко лежит и едва дышит: пришла Музгаркина смерть.

— Кормилец ты мой... — плачет старик и целует верного друга. — Родной ты мой... ну, где болит?..

Ничего не отвечает Музгарко, как раньше. Он давно почуял свою смерть и молчит... Плачет, убивается старик, а помочь нечем: от смерти лекарства нет. Ах, горе какое лютое привалилось...

С Музгаркой умерла последняя надежда старика, и ничего, ничего не оставалось для него, кроме смерти. Кто теперь будет искать белку, кто облает глухаря, кто выследит оленя? Смерть без Музгарки, ужасная голодная смерть. Хлебного припаса едва хватит до крещенья, а там помирать...

Воет пурга, а старик вспоминает, как жил он с Музгаркой, как ходил на охоту и промышлял себе добычу. Куда он без собаки?

А тут ещё волки... Учужали беду, пришли к избушке и завыли. Целую ночь как-то выли, надрывая душу. Некому теперь пугнуть их, облаять, подманить на выстрел...

Вспомнился старику случай, как одолевал его медведь-шатун. Шатунами называют медведей, которые вовремя не залегли с осени в берлогу и бродят по лесу. Такой шатун — самый опасный зверь. Вот и повадился медведь к избушке: учужал запасы у старика. Как ночь, так и придёт. Два раза на крышу залезал и лапами разгребал снег. Потом выворотил дверь в казарме и утащил целый ворох запасённой стариком рыбы. Донял-таки шатун Елеску до самого нельзя¹. Озлобился на него старик за озорство,

¹ До самого нельзя — то есть до того, что и терпеть больше стало невозможно.

зарядил винтовку пулей и вышел с Музгаркой. Медведь так и прынул на старика и наверно бы его смял под себя, прежде чем тот успел бы в него выстрелить, но спас Музгарко. Ухватил он зверя сзади и посадил, а Елескина пуля не знала промаха...

Да, мало ли было случаев, когда собака спасала старика...

Музгарко издох перед самым рождеством, когда мороз трещал в лесу. Дело было ночью. Елеска лежал на своей лавочке и дремал. Вдруг его точно что кольнуло. Вскочил он, вздул огня, зажжёт лучину, подошёл к собаке — Музгарко лежал мёртвый. Елеска похолодел: это была его смерть.

— Музгарко, Музгарко... — повторял несчастный старик, целуя мёртвого друга. — Што я теперь делать буду без тебя?

Не хотел Елеска, чтобы волки съели мёртвого Музгарку, и закопал его в казарме. Три дня он долбил мёрзлую землю, сделал могилку и со слезами похоронил в ней верного друга.

Остался один петушок, который по-прежнему будил старика ночью. Проснётся Елеска и сейчас вспомнит про Музгарку. И сделается ему горько и тошно до смерти.

Поговорить не с кем. Конечно, петушок — птица занятная, а всё-таки птица и ничего не понимает.

— Эх, Музгарко! — повторял Елеска по нескольку раз в день, чувствуя, как всё начинает у него валиться из рук.

Бедным людям приходится забывать своё горе за работой. Так было и тут. Хлебные запасы приходили к концу, и пора было Елеске подумать о своей голове. А главное, тошно ему



теперь показалось оставаться в своей избушке.

— Эх, брошу всё, уйду на Колву, а то в Чердынь проберусь! — решил старик.

Поправил он лыжи, на которых ещё молодым гонял оленей, снарядил котомку, взял запасу дней на пять, простился с Музгаркиной могилой и тронулся в путь. Жаль было петушка оставлять одного, и Елеска захватил его с собой: посадил в котомку и понёс. Отошёл старик до каменного мыса, оглянулся на своё жильё и заплакал: жаль стало насиженного, тёплого угла.

— Прощай, Музгарко...

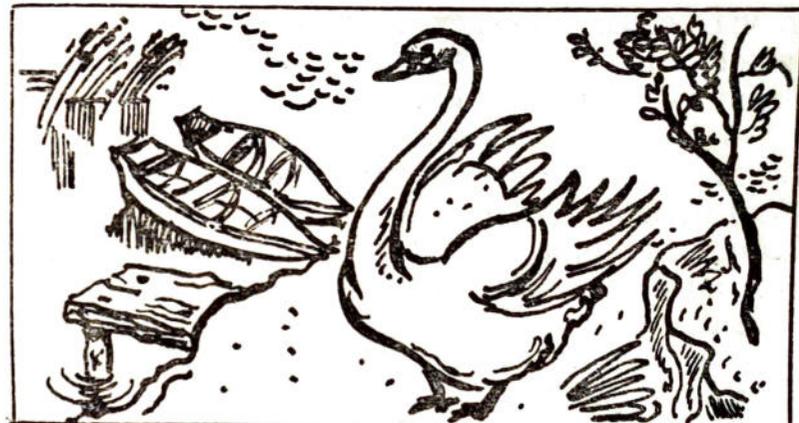
Трудная дорога вела с зимовья на Колву. Сначала пришлось идти на лыжах по Студёной. Это было легко, но потом начались горы, и старик скоро выбился из сил. Прежде-то, как олень, бегал по горам, а тут на двадцати верстах обессилел. Хоть ложись и помирай... Выкопал он в снегу ямку поглубже, устлал хвоей, развёл огонька, поел, что было в котомке, и прилёг отдохнуть. И петушка закрыл котомкой... С устали он скоро заснул. Сколько он спал, долго ли, коротко ли, только проснулся от петушиного крика. «Волки...» — мелькнуло у него в голове.

Но хочет он подняться и не может, точно кто его связал верёвками. Даже глаз не может открыть... Ещё раз крикнул петух и затих: его вместе с котомкой утащил из ямы волк. Хочет подняться старик, делает страшное усилие и слышит вдруг знакомый лай: точно где-то под землёй залаял Музгарко. Да, это он... Ближе, ближе — это он по следу нижним чутьём идёт. Вот уже совсем близко, у самой ямы... Открывает Елеска глаза и видит: действительно, Музгарко, а с Музгаркой тот самый вогул,

первый его хозяин, которого он в снегу схоронил.

— Ты здесь, дедушка? — спрашивает вогул, а сам смеётся.— Я за тобой пришёл...

Дунул холодный ветер, рванул комья снега с высоких елей и пихт, и посыпался он на мёртвого Елеску; к утру от его ямки и следов не осталось.



ПРИЕМЫШ

(Из рассказов старого охотника)

I

Дождливый летний день. Я люблю в такую погоду бродить по лесу, особенно когда впереди есть тёплый уголок, где можно обсушиться и обогреться. Да к тому же летний дождь — тёплый. В городе в такую погоду — грязь, а в лесу земля жадно впитывает влагу, и вы идёте по чуть отсыревшему ковру из прошлогоднего палого листа и осыпавшихся игл сосны и ели. Деревья покрыты дождевыми каплями, которые сыплются на вас при каждом движении.

А когда выглянет солнце после такого дождя, лес так ярко зеленеет и весь горит алмазными искрами. Что-то праздничное и радостное кругом вас, и вы чувствуете себя на этом празднике желанным, дорогим гостем.

Именно в такой дождливый день я подходил к Светлому озеру, к знакомому сторожу на ры-

бачьей сайме¹ Тарасу. Дождь уже редел. На одной стороне неба показались просветы; ещё немножко — и покажется горячее летнее солнце.

Лесная тропинка сделала крутой поворот, и я вышел на отлогий мыс, вдававшийся широким языком в озеро. Собственно, здесь было не самое озеро, а широкий проток между двумя озёрами, и сайма приткнулась в излучине на низком берегу, где в заливишке ютились рыбацьи лодки. Проток между озёрами образовался благодаря большому лесистому острову, разлётшемуся зелёной шапкой напротив саймы.

Моё появление на мысу вызвало сторожевой оклик собаки Тараса, — на незнакомых людей она всегда лаяла особенным образом — отрывисто и резко, точно сердито спрашивала: «Кто идёт?»

Я люблю таких простых собачонок за их необыкновенный ум и верную службу...

Рыбачья избушка издали казалась повернутой вверх дном большой лодкой, — это горбилась старая деревянная крыша, проросшая весёлой зелёной травой. Кругом избушки поднималась густая поросль из иван-чая, шалфея и «медвежьих дудок», так что у подходившего к избушке человека виднелась одна голова. Такая густая трава росла только по берегам озера, потому что здесь достаточно было влаги и почва была жирная.

Когда я подходил уже совсем к избушке, из травы кубарем вылетела на меня пёстрая собачонка и залилась отчаянным лаем.

— Соболько, перестань... Не узнал?

Соболько остановился в раздумье, но, видимо, ещё не верил в старое знакомство. Он осторож-

¹ Саймой на Урале называют рыбацкие стоянки. (Прим. автора.)

но подошёл, обнюхал мои охотничьи сапоги и только после этой церемонии виновато завилял хвостом. Дескать, виноват, ошибся, — а всё-таки я должен стеречь избушку.

Избушка оказалась пустой. Хозяина не было, то есть он, вероятно, отправился на озеро осматривать какую-нибудь рыболовную снасть.

Кругом избушки всё говорило о присутствии живого человека: слабо курившийся огонёк, охапка только что нарубленных дров, сушившаяся на кольях сеть, топор, воткнутый в обрубок дерева.

В приотворённую дверь саймы виднелось всё хозяйство Тараса: ружьё на стене, несколько горшков на припечке, сундучок под лавкой, развешанные снасти. Избушка была довольно просторная, потому что зимой во время рыбного лова в ней помещалась целая артель рабочих.

Летом старик жил один. Несмотря ни на какую погоду, он каждый день жарко натапливал русскую печь и спал на полатах. Эта любовь к теплу объяснялась почтенным возрастом Тараса: ему было около девяноста лет. Я говорю «около», потому что сам Тарас забыл, когда он родился. «Ещё до француза», как объяснил он, то есть до нашествия французов на Россию в 1812 году.

Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи по стенке, я принялся разводить огонь. Соболько вертелся около меня, предчувствуя какую-нибудь поживу. Весело разгорелся огонёк, пустив кверху синюю струйку дыма.

Дождь уже прошёл. По небу неслись разорванные облака, роняя редкие капли. Кое-где синели просветы неба. А потом показалось и солнце, горячее июльское солнце, под лучами которого мокрая трава точно задымилась.

Вода в озере стояла тихо-тихо, как это бывает только после дождя. Пахло свежей травой, шалфеем, смолистым ароматом недалеко стоявшего сосняка. Вообще хорошо, как только может быть хорошо в таком глухом лесном уголке.

Направо, где кончался проток, синела гладь Светлого озера, а за зубчатой каймой поднимались горы. Чудный уголок! И недаром старый Тарас прожил здесь целых сорок лет. Где-нибудь в городе он не прожил бы и половины, потому что в городе не купишь ни за какие деньги такого чистого воздуха, а главное — этого спокойствия, которое охватывало здесь.

Хорошо на сайме!..

Весело горит яркий огонёк; начинает припекать горячее солнце, глазам больно смотреть на сверкающую даль чудного озера. Так сидел бы здесь и, кажется, не расстался бы с чудным лесным привольем. Мысль о городе мелькает в голове, как дурной сон.

В ожидании старика я прикрепил на длинной палке медный походный чайник с водой и повесил его над огнём. Вода уже начинала кипеть, а старика всё не было.

— Куда бы ему деться? — раздумывал я вслух. — Снасти осматривают утром, а теперь полдень... Может быть, поехал посмотреть, не ловит ли кто рыбу без спроса... Соболю, куда девался твой хозяин?

Умная собака только виляла пушистым хвостом, облизывалась и нетерпеливо взвизгивала. По наружности Соболю принадлежал к типу так называемых «промысловых» собак. Небольшого роста, с острой мордой, стоячими ушами и загнутым вверх хвостом, он, пожалуй, напоминал обыкновенную дворнягу, с той разницей, что дворняга не нашла бы в лесу белки, не сумела

бы «облаять» глухаря, выследить оленя, — одним словом, настоящая промысловая собака, лучший друг человека. Нужно видеть такую собаку именно в лесу, чтобы в полной мере оценить все её достоинства.

Когда этот «лучший друг человека» радостно взвизгнул, я понял, что он завидел хозяина. Действительно, в протоке чёрной точкой показалась рыбацья лодка, огибавшая остров. Это и был Тарас... Он плыл, стоя на ногах, и ловко работал одним веслом — настоящие рыбаки все так плавают на своих лодках-однодеревках, называемых не без основания «душегубками». Когда он подплыл ближе, я заметил, к удивлению, плывшего перед лодкой лебедя.

— Ступай домой, гуляка! — ворчал старик, подгоняя красиво плывшую птицу. — Ступай, ступай... Вот я тебе дам — уплывать бог знает куда... Ступай домой, гуляка!

Лебедь красиво подплыл к сайме, вышел на берег, встряхнулся и, тяжело переваливаясь на своих кривых чёрных ногах, направился к избушке.

II

Старик Тарас был высокого роста, с окладистой седой бородой и строгими большими серыми глазами. Он всё лето ходил босой и без шляпы. Замечательно, что у него все зубы были целы и волосы на голове сохранились. Загорелое широкое лицо было изборождено глубокими морщинами. В жаркое время он ходил в одной рубахе из крестьянского синего холста.

— Здравствуй, Тарас!

— Здравствуй, барин.

— Откуда бог несёт?

— А вот за *Приёмьшем* плавал, за лебедем...

Всё тут вертелся в протоке, а потом вдруг и пропал... Ну, я сейчас за ним. Выхал в озеро — нет; по заводям проплыл — нет; а он за островом плавает.

— Откуда достал-то его, лебедя?

— А бог послал, да!.. Тут охотники из господ наезжали; ну, лебедя с лебедушкой и пристрелили, а вот этот остался. Забился в камыши и сидит. Летать-то не умеет, вот и спрятался, ребячьим делом. Я, конечно, ставил сети подле камышей, ну, и поймал его. Пропадёт один-то, ястреба заедят, потому как смыслу в ём ещё настоящего нет. Сиротой остался. Вот я его привёз и держу. И он тоже привык... Теперь вот скоро месяц будет, как живём вместе. Утром на заре поднимется, поплавает в протоке, покормится, потом и домой. Знает, когда я встаю, и ждёт, чтобы покормили. Умная птица, одним словом, и свой порядок знает.

Старик говорил необыкновенно любовно, как о близком человеке. Лебедь приковывал к самой избушке и, очевидно, выжидал какой-нибудь подачи.

— Улетит он у тебя, дедушка... — заметил я.

— Зачем ему лететь? И здесь хорошо: сыт, кругом вода...

— А зимой?

— Перезимует вместе со мной в избушке. Места хватит, а нам с Соболяком веселей. Как-то один охотник забрёл ко мне на сайму, увидел лебедя и говорит вот так же: «Улетит, ежели крылья не подрежешь». А как же можно увечить божью птицу? Пусть живёт, как ей от господа указано... Человеку указано одно, а птице — другое. Не возьму я в толк, зачем господа лебедей застрелили. Ведь и есть не станут, а так, для озорства...

Лебедь точно понимал слова старика и поглядывал на него своими умными глазами.

А как он с Соболяком? — спросил я.

— Сперва-то боялся, а потом привык. Теперь лебедь-то в другой раз у Соболяка и кусок отнимает. Пёс заворчит на него, а лебедь его — крылом. Смешно на них со стороны смотреть. А то гулять вместе отправятся: лебедь по воде, а Соболяк — по берегу. Пробовал пёс плавать за ним, ну, да ремесло-то не то: чуть не потонул. А как лебедь уплывёт, Соболяк ищет его. Сядет на бережку и воет... Дескать, скучно мне, псу, без тебя, друг сердешный... Так вот и живём втроём.

Я очень любил старика. Рассказывал уж очень хорошо, знал много. Бывают такие хорошие, умные старики. Много летних ночей приходилось коротать на сайме, и каждый раз узнаёшь что-нибудь новое.

Прежде Тарас был охотником и знал места кругом вёрст на пятьдесят, знал всякий обычай лесной птицы и лесного зверя; а теперь не мог уходить далеко и знал одну свою рыбу.

На лодке плавать легче, чем ходить с ружьём по лесу, а особенно по горам. Теперь ружьё осталось у Тараса только по старой памяти да на всякий случай, если бы забежал волк. По зимам волки заглядывали на сайму и давно уже точили зубы на Соболяка. Только Соболяк был хитёр и не давался волкам.

Я остался на сайме на целый день. Вечером ездили удить рыбу и ставили сети на ночь.

Хорошо Светлое озеро, и недаром оно названо Светлым, — вода в нём совершенно прозрачная, так что плывёшь на лодке и видишь всё дно на глубине нескольких сажен. Видны и пёстрые камешки, и жёлтый речной песок, и водо-

росли, видно, как и рыба ходит «руном», то есть стадом. Таких горных озёр на Урале сотни, и все они отличаются необыкновенной красотой.

От других Светлое озеро отличалось тем, что прилегалo к горам только одной стороной, а другой выходило «в степь», где начиналась благословенная Башкирия. Кругом Светлого озера разлеглись самые привольные места, а из него выходила бойкая горная река, разливавшаяся по степи на целую тысячу вёрст.

Длиной озеро было до двадцати вёрст да в ширину около десяти. Глубина достигала в некоторых местах сажен пятнадцати... Особенную красоту придавала ему группа лесистых островов. Один такой островок отделился на самую середину озера и назывался Голодаем, потому что, попав на него в дурную погоду, рыбаки не раз голодали по нескольку дней.

Тарас жил на Светлом уже сорок лет. Когда-то у него были и своя семья и дом, а теперь он жил бобылём. Дети перемёрли, жена тоже умерла, и Тарас безвыходно оставался на Светлом по целым годам.

— Не скучно тебе, дедушка? — спросил я, когда мы возвратились с рыбной ловли. — Жутко одному-то в лесу.

— Одному? Тоже и скажет, барин... Я тут князь князем живу. Всё у меня есть... И птица всякая, и рыба, и трава. Конечно, говорить они не умеют, да я-то понимаю всё. Сердце радуется в другой раз посмотреть на божью тварь... У всякой свой порядок и свой ум. Ты думаешь, зря рыбка плавает в воде или птица в лесу летает? Нет, у них заботы не меньше нашего... Эвон, погляди, лебедь-то дожидается нас с Соболюком. Ах, прокурат¹!

¹ Прокурат — проказник.

Старик ужасно был доволен своим Приёмышем, и все разговоры в конце концов сводились на него.

— Гордая, настоящая царская птица, — объяснил он. — Помани его кормом, да не дай, в другой раз и не пойдёт. Свой характер тоже имеет, даром что птица... С Соболюком тоже себя очень гордо держит. Чуть что, сейчас крылом, а то и носом долбанёт. Известно, пёс в другой раз созорничать захочет, зубами норовит за хвост поймать, а лебедь его по морде... Это тоже не игрушка, чтобы за хвост хватать.

Я переночевал и утром на другой день собрался уходить.

— Ужо по осени приходи, — говорил старик на прощание. — Тогда рыбу лучить будем с острогой... Ну, и рябчиков постреляем. Осенний рябчик жирный.

— Хорошо, дедушка, приеду как-нибудь. Когда я отходил, старик меня вернул:

— Посмотри-ка, барин, как лебедь-то разыгрался с Соболюком...

Действительно, стоило полюбоваться оригинальной картиной. Лебедь стоял, раскрыв крылья, а Соболюко с визгом и лаем нападал на него. Умная птица вытягивала шею и шипела на собаку, как это делают гуси. Старый Тарас от души смеялся над этой сценой, как ребёнок.

III

В следующий раз я попал на Светлое озеро уже поздней осенью, когда выпал первый снег. Лес и теперь был хорош. Кое-где на берёзах ещё оставался жёлтый лист. Ели и сосны казались зеленее, чем летом. Сухая осенняя трава выглядывала из-под снега жёлтой щёткой. Мёртвая



тишина царила кругом, точно природа, утомлённая летней кипучей работой, теперь отдыхала. Светлое озеро казалось больше, потому что не стало прибрежной зелени. Прозрачная вода потемнела, и в берег с шумом била тяжёлая осенняя волна...

Избушка Тараса стояла на том же месте, но казалась выше, потому что не стало окружавшей её высокой травы. Навстречу мне выскочил тот же Соболько. Теперь он узнал меня и ласково завилял хвостом ещё издали. Тарас был дома. Он чинил невод для зимнего лова.

— Здравствуй, старина!

— Здравствуй, барин!

— Ну, как поживаешь?

— Да ничего... По осени-то к первому снегу прихворнул малость. Ноги болели... К непогоде у меня всегда так бывает.

Старик действительно имел утомлённый вид. Он казался теперь таким дряхлым и жалким. Впрочем, это происходило, как оказалось, совсем не от болезни. За чаем мы разговорились, и старик рассказал своё горе.

— Помнишь, барин, лебедя-то?

— Приёмыша?

— Он самый... Ах, хороша была птица! А вот мы опять с Собольком остались одни... Да, не стало Приёмыша.

— Убили охотники?

— Нет, сам ушёл... Вот как мне обидно это, барин!.. Уж я ли, кажется, не ухаживал за ним, я ли не водился!.. Из рук кормил... Он ко мне и на голос шёл. Плавает он по озеру — я его кликну, он и подплывает. Учёная птица. И ведь совсем привыкла... да! Уж в заморозки грех вышел. На перелёте стадо лебедей спустилось на Светлое озеро. Ну, отдыхают, кормятся,

плавают, а я люблюсь. Пусть божья птица с силой соберётся: не близкое место лететь... Ну, а тут и вышел грех. Мой-то Приёмыш сначала сторонился от других лебедей: подплывёт к ним, и назад. Те гогочут по-своему, зовут его, а он домой... Дескать, у меня свой дом есть. Так дня три это у них было. Всё, значит, переговариваются, по-своему, по-птичьему. Ну, а потом, вижу, мой Приёмыш затосковал... Вот всё равно как человек тоскует. Выйдет это на берег, встанет на одну ногу и начнёт кричать. Да ведь как жалобно кричит... На меня тоску нагонит, а Соболько, дурак, волком воет. Известно, вольная птица, кровь-то сказала...

Старик замолчал и тяжело вздохнул.

— Ну и что же, дедушка?

— Ах, и не спрашивай... Запер я его в избушку на целый день, так он и тут донял. Станет на одну ногу у самой двери и стоит, пока не стонишь его с места. Только вот не скажет человеческим языком: «Пусти, дедушка, к товарищам. Они-то в тёплую сторону полетят, а что я с вами тут буду зимой делать?» Ах ты, думаю, задача! Пустить — улетит за стадом и пропадёт...

— Почему пропадёт?

— А как же... Те-то на вольной воле выросли. Их, молодые которые, отец с матерью летать выучили. Ведь, ты думаешь, как у них? Подрастут лебедята, — отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут учить летать. Исподволь учат: всё дальше да дальше. Своими глазами я видел, как молодых обучают к перелёту. Сначала особняком учат, потом небольшими стаями, а потом уж сгрудятся в одно большое стадо. Похоже на то, как солдат муштруют... Ну, а мой-то Приёмыш один вырос и, почитай, никуда не летал. Поплавает по озеру — только

и всего ремесла. Где же ему перелететь? Выбьется из сил, отстанет от стада и пропадёт. Непривычен к дальнему лёту.

Старик опять замолчал.

— А пришлось выпустить, — с грустью заговорил он. — Всё равно, думаю, ежели удержу его на зиму, затоскует и схиреет. Уж птица такая особенная. Ну, и выпустил. Пристал мой Приёмыш к стаду, поплавал с ним день, а к вечеру опять домой. Так два дня приплывал. Тоже, хоть и птица, а тяжело с своим домом расставаться. Это он прощаться плавал, барин... В последний-то раз отплыл от берега этак сажень на двадцать, остановился и как, братец ты мой, крикнет по-своему. Дескать: «Спасибо за хлеб, за соль!» Только я его и видел. Остались мы опять с Собольком одни. Первое-то время сильно мы оба тосковали. Спрошу его: «Соболько, а где наш Приёмыш?» А Соболько сейчас выть... Значит, жалеет. И сейчас на берег, и сейчас искать друга милого... Мне по ночам всё грезилось, что Приёмыш-то тут вот пощелкает у берега и крылышками хлопает. Выйду — никого нет... Вот какое дело вышло, барин.





СЕРАЯ ШЕЙКА

I

Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привёл всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далёкий путь, и все имели такой серьёзный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч вёрст... Сколько бедных птиц дорогой выбьются из сил, сколько погибнут от разных случайностей, — вообще было о чём серьёзно подумать.

Серьёзная большая птица, как лебеди, гуси и утки, собирались в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига; а более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они давно уж собирались стайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая работа...

Лес стоял тёмный и молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

— И куда эта мелочь торопится! — ворчал старый Селезень, не любивший себя беспокоить. — В своё время все улетим... Не понимаю, о чём тут беспокоиться.

— Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно смотреть на чужие хлопоты, — объяснила его жена, старая Утка.

— Я был лентяем? Ты просто несправедлива ко мне, и больше ничего. Может быть, я побольше всех забочусь, а только не показываю вида. Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи по берегу, кричать, мешать другим, надоедать всем.

Утка вообще была не совсем довольна своим супругом, а теперь окончательно рассердилась:

— Ты посмотри на других-то, лентяй! Вон наши соседи, гуси или лебеди, — любо на них посмотреть. Живут душа в душу... Небось лебедь или гусь не бросит своего гнезда и всегда впереди выводка. Да, да... А тебе до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы набить зоб. Лентяй, одним словом. Смотреть-то на тебя даже противно!

— Не ворчи, старуха!.. Ведь я ничего не говорю, что у тебя такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки... Я не виноват, что гусь — глупая птица и поэтому нянчится со своим выводком. Вообще моё правило — не вмешиваться в чужие дела. Зачем? Пусть всякий живёт по-своему.

Селезень любил серьёзные рассуждения, причём оказывалось как-то так, что именно он, Селезень, всегда прав, всегда умён и всегда лучше всех. Утка давно к этому привыкла, а

сейчас волновалась по совершенно особенному случаю.

— Какой ты отец! — накинулась она на мужа. — Отцы заботятся о детях, а тебе — хоть трава не расти!..

— Ты это о Серой Шейке говоришь? Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват...

Серой Шейкой они называли свою калеку дочь, у которой было переломлено крыло ещё весной, когда подкралась к выводку Лиса и схватила утёнка. Старая Утка смело бросилась на врага и отбила утёнка; но одно крылышко оказалось сломанным.

— Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь Серую Шейку одну, — повторяла Утка со слезами. — Все улетят, а она останется одна-одинёшенька. Да, совсем одна... Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мёрзнуть... Ведь она наша дочь, и как я её люблю, мою Серую Шейку! Знаешь, старик, останусь-ка я с ней зимовать здесь вместе...

— А другие дети?

— Те здоровы, обойдутся и без меня.

Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила о Серой Шейке. Конечно, он тоже любил её, но зачем же напрасно тревожить себя? Ну, останется, ну, замёрзнет, — жаль, конечно, а всё-таки ничего не поделаешь. Наконец, нужно подумать и о других детях. Жена вечно волнуется, а нужно смотреть на вещи серьёзно. Селезень про себя жалел жену, но не понимал в полной мере её материнского горя. Уж лучше было бы, если бы тогда Лиса совсем съела Серую Шейку, — ведь всё равно она должна погибнуть зимою.

II

Старая Утка ввиду близившейся разлуки относилась к дочери-калеке с удвоенной нежностью. Бедняжка ещё не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы друзей в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что её братья и сёстры так весело собираются к отлету, что они будут где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы.

— Ведь вы весной вернётесь? — спрашивала Серая Шейка у матери.

— Да, да, вернёмся, моя дорогая... И опять будем жить все вместе.

Для утешения начинавшей задумываться Серой Шейки мать рассказала ей несколько таких же случаев, когда утки оставались на зиму. Она была лично знакома с двумя такими парами.

— Как-нибудь, милая, провьёшься, — успокаивала старая Утка. — Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. Если бы можно было тебя перенести на тёплый ключ, что и зимой не замерзает, — совсем было бы хорошо. Это недалеко отсюда... Впрочем, что же и говорить-то попусту, всё равно нам не перенести тебя туда!

— Я буду всё время думать о вас... — повторяла бедная Серая Шейка. — Всё буду думать: где вы, что вы делаете, весело ли вам? Всё равно и будет, точно и я с вами вместе.

Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться весёлой и плакала потихоньку ото всех. Ах, как ей было жаль милой бедненькой Серой Шейки... Других детей она теперь

почти не замечала и не обращала на них внимания, и ей казалось, что она даже совсем их не любит.

А как быстро летело время... Был уже целый ряд холодных утренников, а от инея пожелтели берёзки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река казалась больше, потому что берега оголели — береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжёлыми осенними облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще хорошего было мало, и который день уже неслись мимо стаи перелетной птицы... Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начинали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие.

Серую Шейку больше всего огорчал перелёт журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали её с собой. У неё ещё в первый раз сжалось сердце от какого-то тайного предчувствия, и она долго провожала глазами уносившуюся в небе журавлиную стаю.

«Как им, должно быть, хорошо», — думала Серая Шейка.

Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к отлёту. Отдельные гнёзда соединялись в большие стаи. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое утро эта молодёжь с весёлым криком делала большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далёкого перелёта. Умные вожаки сначала обучали отдельные партии, а потом всех вместе. Сколько было крика, молодого веселья и радости!.. Одна Серая Шейка не могла принимать участия в этих прогулках и любовалась ими только издали. Что делать, приходилось мириться со своей судьбой. Зато

как она плавала, как ныряла! Вода для неё составляла всё.

— Нужно отправляться... пора! — говорили старики вожаки. — Что нам здесь ждать!

А время летело, быстро летело... Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода ещё была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из трёхсот штук. Слышно было только криканье главных вожаков. Старая Утка не спала всю ночь: это была последняя ночь, которую она проводила вместе с Серой Шейкой.

— Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик, — советовала она. — Там вода не замёрзнет целую зиму...

Серая Шейка держалась в стороне от косяка, как чужая... Да, все были так заняты общим отлётом, что на неё никто не обращал внимания.

У старой Утки изболелось всё сердце, глядя на бедную Серую Шейку. Несколько раз она решала про себя, что останется; но как останешься, когда есть другие дети и нужно лететь вместе с косяком?..

— Ну, трогай! — громко скомандовал старый вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серая Шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись.

«Неужели я совсем одна? — думала Серая Шейка, заливаясь слезами. — Лучше бы было, если бы тогда Лиса меня съела...»

Река, на которой осталась Серая Шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое, и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днём тонкий, как стекло, лёд таял.

«Неужели вся река замёрзнет?» — думала Серая Шейка с ужасом.

Скучно ей было одной, и она всё думала про своих улетевших братьев и сестёр. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про неё? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всём. Узнала она и одиночество. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы.

Раз со скуки Серая Шейка забралась в лес и страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем вылетел Заяц.

— Ах, как ты меня напугала, глупая! — проговорил Заяц, немного успокоившись. — Душа в пятки ушла... И зачем ты толчешься здесь? Ведь все утки давно улетели.

— Я не могу летать: Лиса мне крылышко перекусила, когда я ещё была совсем маленькой.

— Уж эта мне Лиса!.. Нет хуже зверя. Она и до меня давно добирается... Ты берегись её, особенно когда река покроется льдом. Как раз сцапает...

Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, как Серая Шейка, и спасал свою жизнь постоянным бегством.

— Если бы мне крылья, как птице, так я бы, кажется, никого на свете не боялся!.. У тебя вот хоть и крыльев нет, так зато ты плавать

умеешь, а не то возьмёшь и нырнёшь в воду, — говорил он. — А я постоянно дрожу со страху... У меня — кругом враги. Летом ещё можно спрятаться куда-нибудь, а зимой всё видно.

Скоро выпал и первый снег, а река всё ещё не поддавалась холоду. Всё, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, звёздные ночи, когда всё затихало и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать её льдом сонную.

Так и случилось.

Была тихая-тихая звёздная ночь. Тихо стоял тёмный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал всё своим трепетным искрившимся светом.

Бурлившая днём горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно прикрыл её зеркальным стеклом.

Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замёрзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен. Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась Лиса, — это была та самая Лиса, которая переломила ей крыло.

— А, старая знакомая, здравствуй! — ласково проговорила Лиса, останавливаясь на берегу. — Давненько не видались... Поздравляю с зимой.

— Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать, — ответила Серая Шейка.

— Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего сказать!.. А впрочем, про меня много



лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят... Пока — до свиданья!

Когда Лиса убралась, приковылял Заяц и сказал:

— Берегись, Серая Шейка: она опять придёт.

И Серая Шейка тоже начала бояться, как боялся Заяц. Бедная даже не могла любоваться творившимися кругом неё чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного тёмного пятнышка. Даже голые берёзы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались ещё важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую тёплую шубу.

Да, чудно, хорошо было кругом; а бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота не для неё, и трепетала при одной мысли, что её полынья вот-вот замёрзнет и ей некуда будет деться.

Лиса действительно пришла через несколько дней, была на берегу и опять заговорила:

— Соскучилась я по тебе, уточка... Выходи сюда; а не хочешь, так я сама к тебе приду. Я не спесива...

И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но Лиса не могла подобраться к самой воде, потому что там лёд был ещё очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила:

— Какая ты глупая, уточка!.. Вылезай на лёд! А впрочем, до свиданья! Я тороплюсь по своим делам...

Лиса начала приходить каждый день —

проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали своё дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лёд был крепкий, и Лиса садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду, а Лиса сидела и зло подсмеивалась над ней:

— Ничего, ныряй, а я тебя всё равно съем... Выходи лучше сама.

Заяц видел с берега, что проделывала Лиса, и возмущался всем своим заячьим сердцем:

— Ах, какая бессовестная эта Лиса! Какая несчастная эта Серая Шейка! Съест её Лиса...

IV

По всей вероятности, Лиса и съела бы Серую Шейку, когда полынья замёрзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц всё видел своими собственными косыми глазами.

Дело было утром. Заяц выскочил из своего логовища покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а всё-таки весело.

— Братцы, берегись! — крикнул кто-то.

Действительно, опасность была на носу. На опушке леса стоял сгорбленный старичок охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить.

«Эх, тёплая старухе шуба будет», — соображал он, выбирая самого крупного зайца.

Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес как сумасшедшие.

— Ах, лукавцы! — рассердился старичок.—

Вот уж я вас... Того не понимают, глупые, что нельзя старухе без шубы. Не мёрзнуть же ей... А вы Акинтича не обманете, сколько ни бегайте. Акинтич-то похитрей будет... А старуха Акинтичу вон как наказывала: «Ты смотри, старик, без шубы не приходи!» А вы сигать...

Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть.

— Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба! — думал он вслух.— Ну, вот отдохну и пойду искать другую...

Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, Лиса по реке ползёт,— так и ползёт, точно кошка.

— Ге, ге, вот так штука! — обрадовался старичок.— К старухиной-то шубе воротник сам ползёт... Видно, пить захотела, а то, может, и рыбки вздумала половить.

Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала Серая Шейка, и улеглась на льду.

Стариковские глаза видели плохо и из-за лисы не замечали утки.

«Надо так её застрелить, чтобы воротника не испортить,— соображал старик, прицеливаясь в Лису.— А то вот как старуха будет браниться, если воротник-то в дырках окажется... Тоже своя сноровка везде надобна, а без снасти и клопа не убьёшь».

Старичок долго прицеливался, выбирая место в будущем воротнике. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось на льду,— и со всех ног кинулся к полынье; по дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только

развёл руками,— воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная Серая Шейка.

— Вот так штука! — ахнул старичок, разводя руками.— В первый раз вижу, как Лиса в утку обратилась. Ну, и хитёр зверь!

— Дедушка, Лиса убежала,— объяснила Серая Шейка.

— Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе... Что же я теперь буду делать, а? Ну и грех вышел... А ты, глупая, зачем тут плаваешь?

— А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено...

— Ах, глупая, глупая! Да ведь ты замёрзнешь тут или Лиса тебя съест! Да...

Старичок подумал-подумал, покачал головой и решил:

— А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам унесу. Вот-то обрадуются. А весной ты старухе яичек нанесёшь, да утятку выведешь. Так я говорю? Вот то-то, глупая!

Старичок добыл Серую Шейку из полыньи и положил за пазуху.

«А старухе я ничего не скажу,— соображал он, направляясь домой.— Пусть её шуба с воротником вместе ещё погуляет в лесу. Главное: внучки вот как обрадуются...»

Зайцы всё это видели и весело смеялись. Ничего, старуха и без шубы на печке не замёрзнет.



ЛЕСНАЯ СКАЗКА

I

У реки, в дремучем лесу, в один прекрасный зимний день остановилась толпа мужиков, приехавших на санях. Подрядчик¹ обошёл весь участок и сказал:

— Вот здесь рубите, братцы... Ельник отличный. Лет по сту каждому дереву будет...

Он взял топор и постучал обухом по стволу ближайшей ели. Великолепное дерево точно застонало, а с мохнатых зелёных ветвей покатились комья пушистого снега. Где-то в вершине мелькнула белка, с любопытством глядевшая на необыкновенных гостей; а громкое эхо прокатилось по всему лесу, точно разом заговорили все эти зелёные великаны, занесённые снегом. Эхо замерло далёким шёпотом, будто деревья спрашивали друг друга: кто это приехал? Зачем?..

¹ Подрядчик — руководитель работ.

— Ну, а вот эта старушка никуда не годится... — прибавил подрядчик, постукивая обухом стоящую ель с громадным дуплом. — Она наполовину гнилая.

— Эй ты, невежа, — крикнула сверху Белка. — Как ты смеешь стучать в мой дом? Ты приехал только сейчас, а я прожила в дупле этой самой ели целых пять лет.

Она щёлкнула зубами, распушила хвост и так зашипела, что даже самой сделалось страшно. А невежа-подрядчик не обратил на неё никакого внимания и продолжал указывать рабочим, где следовало начать порубку, куда складывать дрова и хворост.

Что было потом, трудно даже рассказать. Никакое перо не опишет того ужаса, который совершился в каких-нибудь две недели. Сто лет рос этот дремучий ельник, и его не стало в несколько дней. Люди рубили громадные деревья и не замечали, как из свежих ран сочились слёзы: они принимали их за обыкновенную смолу. Нет, деревья плакали безмолвными слезами, как люди, когда их придавит слишком большое горе. А с каким стоном падали подрубленные деревья, как жалобно они трещали!.. Некоторые даже сопротивлялись, не желая поддаваться ничтожному человеку: они хватались ветвями за соседние деревья во время своего падения. Но всё было напрасно: и слёзы, и стоны, и сопротивление! Тысячи деревьев лежали мёртвыми, как на поле сражения, а топор всё продолжал своё дело. Деревья-трупы очищались от хвои, затем оголённые стволы разрубались на равные части и складывались правильными рядами в поленницы дров. Да, самые обыкновенные поленницы, которые мы можем видеть везде, но не всегда думаем, сколько

живых деревьев изрублено в такую поленницу и сколько нужно было долгих-долгих лет, чтобы такие деревья выросли.

Уцелела одна старая ель с дуплом, в котором жила старая Белка с своей семьёй. Под этой елью рабочие устроили себе балаган¹ и спали в нём. Целые дни перед балаганом горел громадный костёр, лизавший широким, огненным языком нижние ветки развесистого дерева. Зелёная хвоя делалась красной, тлела, а потом оставались одни обгоревшие сучья, топорщившиеся, как пальцы. Старая Белка была возмущена до глубины души этим варварством и громко говорила:

— Для чего всё это сделано?.. Кому мешал красавец лес? Противные люди! Нарочно придумали железные топоры, чтобы рубить ими деревья... Кому это нужно, чтобы вместо живого, зелёного леса стояли какие-то безобразные поленницы? Не правда ли, старушка Ель?

— Я ничего не знаю и ничего не понимаю, — грустно ответила Ель, вздрагивая от ужаса. — Моё горе настолько велико, что я не могу даже подумать о случившемся... Лучше было погибнуть и мне вместе с другими, чтобы не видеть всего, что происходило у меня на глазах. Ведь все эти срубленные деревья — мои дети. Я радовалась, когда они были молодыми деревцами, радовалась, глядя, как они весело росли, крепили и поднимались к самому небу. Нет, это ужасно... Я не могу ни говорить, ни думать!.. Конечно, каждое дерево когда-нибудь должно погибнуть от собственной старости; но это совсем не то, когда видишь срубленными тысячи деревьев в расцвете сил, молодости и красоты.

¹ Балаган — деревянная постройка.

Люди, срубившие деревья, почти совсем не говорили о них, точно всё так было, как должно быть. Они заботились теперь о том, как бы поскорее вывезти заготовленные дрова и уехать самим. Может быть, их мучила совесть, а может быть, им надоело жить в лесу,— вернее, конечно, последнее.

К ним на помощь явились другие. Они в несколько дней сложили приготовленные дрова на воза и увезли, оставив одни пни и кучи зелёного хвороста. Вся земля была усыпана щепками и сором, так что зимнему ветру стоило больших хлопот засыпать эту безобразную картину свежим, пушистым снегом.

— Где же справедливость? — жаловалась Ветру старая Ель.— Что мы сделали этим злым людям с железными топорами?

— Они совсем не злые, эти люди,— ответил Ветер.— А просто ты многого не знаешь, что делается на свете.

— Конечно, я сижу дома, не шатаюсь везде, как ты,— угрюмо заметила Ель, недовольная замечанием своего старого знакомого.— Да я и не желаю знать всех несправедливостей, какие делаются. Мне довольно своего домашнего дела.

— Ты, Ветер, много хвастаешься,— заметила в свою очередь старая Белка.— Что же ты можешь знать, когда должен постоянно лететь сломя голову всё вперёд? Потом, ты делаешь часто большие неприятности и мне и деревьям: нагонишь холоду, снегу...

— А кто летом гонит к вам дождевые облака? Кто весной обсушит землю? Кто?.. Нет, мне некогда с вами разговаривать! — ещё более хвастливо ответил Ветер и улетел.— Прощайте, пока...

— Самохвал!.. — заметила ему вслед Белка.

С Ветром у леса велись искони¹ неприятные счёты главным образом зимой, когда он приносил страшный северный холод и сухой, как толчёное стекло, снег. Деревья к северу повёртывались спиной и тянулись своими ветвями на юг, откуда веяло благодатным теплом. Но в густом лесу, где деревья защищали друг друга, Ветер мог морозить только одни вершины, а теперь он свободно гулял по вырубленному месту, точно хозяин, и это приводило старую Ель в справедливое негодование, как и Белку...

II

Наступила весна. Глубокий снег точно присел, потемнел и начал таять. Особенно скоро это случилось на новой поруби, где весеннее солнце припекало так горячо. В густом лесу, обступавшем порубь со всех сторон, снег ещё оставался, а на поруби уже выступали прогалины; снеговая вода сбегала ручьями к одному месту, где под толстым льдом спала зимним сном речка Безымянка.

— Что вы меня будите раньше времени? — ворчала она.— Вот снег в лесу стает, и я проснусь.

Но её всё-таки разбудили раньше. Проснувшись, река не узнала своих берегов; везде было голо и торчали одни пни.

— Что такое случилось? — удивлялась Речка, обращаясь к одиноко стоявшей старой Ели.— Куда девался лес?

Старая Ель со слезами рассказала старой

¹ Искони — издавна.

приятельнице обо всём случившемся и долго жаловалась на свою судьбу.

— Что же я теперь буду делать? — спрашивала Речка. — Раньше лес задерживал влагу, а теперь всё высохнет... Не будет влаги, — не будет и лесных ключиков с холодной водой. Вот горе!.. Чем я буду поить прибрежную траву, кусты и деревья? Я сама высохну с горя...

А весеннее солнце продолжало нагревать землю. Дохнул теплом первый весенний ветерок, прилетевший с тёплого моря. Набухли почки на берёзах, а мохнатые ветви елей покрылись мягкими, светлыми почками. Это были молодые побеги новой хвои, выглянувшие зелёными глазками. Через мокрый, почерневший снег, точно изъеденный червями, пробился своей жёлтой головкой первый Подснежник и весело крикнул тоненьким голоском:

— Вот и я, братцы!.. Поздравляю с весной!

Прежде в ответ сейчас же слышался весёлый шёпот елей, кивавших своими ветвями первому весеннему гостю, а теперь всё молчало кругом, так, что Подснежник был неприятно удивлён таким недружелюбным приёмом. Когда развернулась цветочная почка и Подснежник глянул кругом жёлтым глазком, он ахнул от изумления: вместо знакомых деревьев торчали одни пни, везде валялись кучи хвороста, щеп и сучьев. Картина представлялась до того печальная, что Подснежник даже заплакал.

— Если бы я знал, то лучше остался бы сидеть под землёй, — печально проговорил он, повёртываясь на своей мохнатой ножке. — От леса осталось одно кладбище.

Старушка Ель опять рассказала про своё страшное горе, а Белка подтвердила её слова. Да, зимой приехали люди с железными топо-

рами и срубили тысячи деревьев, а потом изрезали их на дрова и увезли.

Не успел этот разговор кончиться, как показались перистые листья папоротников. В густом дремучем лесу трава не растёт, а мох и папоротник, — они любят и полусвет и сырость. Их удивление было ещё больше.

— Что же? Нам ничего не остаётся, как только уйти отсюда, — сурово проговорил самый большой Папоротник. — Мы не привыкли жариться на солнце...

— И уходите... — весело ответила зелёная Травка, выбившаяся откуда-то из-под сора нежными усиками.

— А ты откуда взялась? — сурово спросила старая Ель незваную гостью. — Разве твоё место здесь? Ступай на берег реки, к самой воде...

Весело засмеялась зелёная Травка на это ворчанье. Зачем она пойдёт, когда ей и здесь хорошо? Довольно и света, и земли, и воздуха. Нет, она останется именно здесь, на этой жирной земле, образовавшейся из перегнившей хвои, моха и сучьев.

— Как я попала сюда? Вот странный вопрос! — удивлялась Травка, улыбаясь. — Я приехала, как важная барыня... Меня привезли вместе с сеном, которое ели лошади: сено-то они съели, а я осталась. Нет, мне решительно здесь нравится... Вы должны радоваться, что я покрою всё зелёным, изумрудным ковром.

— Вот это мило! — заметила Белка, слушавшая разговор. — Пришла неизвестно откуда, да ещё разговаривает... А впрочем, что же, пусть растёт пока, особенно если сумеет закрыть все эти щепы и сор, оставленные дрово-секами.

— Я никому не помешаю,— уверяла Травка.— Мне нужно так немного места... Сами будете потом хвалить. А вот вы лучше обратите внимание вон на те зелёные листочки, которые пробиваются из-под щеп: это осина. Она вместе со мной приехала в сене, и мне всю дорогу было горько. По-моему, осина — самое глупое дерево: крепости в нём никакой, даже дрова из неё самые плохие, а разрастётся так, что всех выживет.

— Ну, уж это из рук вон! — заворчала старая Ель.— Положим, старый ельник вырублен, но на его месте вырастут молодые ёлочки... Здесь наше старинное место, и мы его никому не уступим...

— Когда ещё твои ёлочки вырастут, а осинник так разрастётся, что всё задушит,— объяснила Белка.— Я это видела на других порубях... Осина всегда занимала чужие места, когда хозяева уйдут... И вырастает она скоро, и неприхотлива, да и живёт недолго. Пустое дерево, вечно что-то бормочет, а что — и не разберёшь. Да и мне от него поживы никакой.

В одну весну на свежей поруби явились ещё новые гости, которые и сами не умели объяснить, откуда явились сюда. Тут были и молодые рябинки, и черёмуха, и малинники, и ольхи, и кусты смородины, и верба; все эти породы жались главным образом к реке, оттесняя одна другую, чтобы захватить местечко получше. Ссорились они ужасно, так что старая Ель смотрела на них, как на разбойников или мелких воришек, которые никак не могли разделить попавшуюся в руки лакомую добычу.

— Э, пусть их,— успокаивала её Белка.— Пусть ссорятся и выгоняют друг друга. Нужно подождать, старушка. Только бы побольше

уродилось шишек, а из шишек выпадет семя и народаются маленькие ёлочки.

— У тебя только и заботы, что о шишках! — укорила Ель лукавую лакомку.— Всякому, видно, до себя...

Порубь заросла вся в одну весну и новой травой, и новыми древесными породами, так что о сумрачных папоротниках не было здесь и помину. В зелёной, сочной траве пестрели и фиолетовые колокольчики, и полевая розовая гвоздика, и голубые незабудки, и ландыши, и фиалки, и пахучий шалфей, и розовые стрелки иван-чая. Недавняя смерть сменилась яркой жизнью молодой поросли; а в ней зачирикала, засвистела и рассыпалась весёлыми трелями разная мелкая птичка, которая не любит глухого леса и держится по опушкам и мелким зарослям. Приковылял в своих валенках и косою заяк: щипнул одну травку, попробовал другую, погрыз третью и весело сказал Белке:

— Это повкуснее будет твоих шишек... Попробуй-ка!..

III

С тех пор, как вырубили лес у реки, прошло уже несколько лет, и порубь сделалась неузнаваемой. С вершины старой Ели виднелось точно сплошное зелёное озеро, разлившееся в раме тёмного ельника, обступившего порубь со всех сторон зубчатой стеной. Старая Белка, бывшая свидетельницей порубки, успела в это время умереть, оставив целое гнездо молоденьких белочек, резвившихся и прыгавших в мохнатой зелени старой Ели.

— Посмотрите-ка, что там делается, на реке,— просила старушка Ель своих бойких квар-



тиранток.— Меня ужасно это беспокоит... Кажется, довольно здесь набралось всяких деревьев, а идут всё новые... Насильно лезут вперёд, продираются, душат друг друга,— это меня удивляет! Мне, наконец, надоели эта суматоха и постоянные раздоры... Прежде было так тихо и чинно, каждое дерево знало своё место, а теперь точно с ума все сошли...

Белочки прыгали к реке и сейчас же приносили невесёлый ответ:

— Плохо, бабушка Ель... По реке вверх поднимаются новые травы и цветы, новые кустарники, и всё это стремится на порубь, чтобы захватить хоть какой-нибудь кусок земли.

— Э, пусть идут: мне теперь всё равно,— печально шептала старушка Ель. Мне и жить осталось недолго.

Время в лесу шло скорее, чем в городах, где живут люди. Деревья считали его не годами, а десятками лет. Происходило это, вероятно, потому, что деревья живут гораздо дольше людей и растут медленнее. С другой стороны, существовали однолетние растения, для которых весь круг жизни совершался в одно лето,— они рождались весной и умирали осенью. Кустарники жили десять — двадцать лет, а потом начинали хиреть, теряли листья и постепенно засыхали. Лиственные деревья жили ещё дольше, но до ста лет выживали одни липы и берёзы, а осины, черёмухи и рябины погибали, не дожив и половины. С лиственными деревьями пришли и свои травы, и цветы, и кустарники — эта весёлая зелёная свита, которая не встречается в глухих хвойных лесах, где недостаёт солнца и воздуха и где могут жить одни папоротники, мхи и лишайники.

Главными действующими лицами на поруби

являлись теперь река Безымянка и Ветер,— они вместе несли свежие семена новых растений и лесных пород, и таким образом происходило передвижение растительности. Через двадцать лет вся порубь заросла густым смешанным лесом, точно зелёная щётка. Посторонний глаз ничего здесь не разобрал бы,— так перемешались разные породы деревьев. Зелёная трава и цветы первыми покрыли свежую порубь, а теперь они должны были отступить на берег реки и лесные опушки, потому что в густой заросли им делалось душно да и солнца не хватало.

Но среди светлой зелени лиственных пород скоро показались зелёные стрелки молодых ёлочек,— они целой семьёй окружали старую, дуплистую ель и, точно дети, рассыпались по опушке оставшейся нетронутой стены старого дремучего ельника.

— Не пускайте их! — кричала горькая Осина, шелестя своими дрожавшими листиками.— Это место наше... Вот как они продираются. Пожалуй, и нас выгонят...

— Ну, это ещё мы посмотрим,— спокойно ответили зелёные Берёзки.— А мы не дадим им свету... Загораживайте им солнце, отнимайте из земли все соки. Мы ещё посмотрим, чья возьмёт...

Завязалась отчаянная война, которая особенно страшна была тем, что она совершалась молча, без малейшего звука. Это была общая война лиственных пород против молодой хвойной поросли. Берёзы и осины протягивали свои ветви, чтобы загородить солнечные лучи, падавшие на молодые ёлочки. Нужно было видеть, как томились без солнца эти несчастные ёлочки, как они задыхались, хирели и засыха-

ли. Ещё сильнее шла война под землёй, где в темноте неутомимо работали нежные корни, сосавшие питательную влагу. Корешки травы и цветов работали в самом верхнем слое почвы, глубже их зарывались корни кустарников, а ещё глубже шли корни берёз и молоденьких ёлочек. Там, в темноте они переплетались между собой, как тонкие белые волосы.

— Дружнее работайте, детки! — ободряла их старая Ель.— Не теряйте времени.

Вся беда была в том, что берёзы росли быстрее ёлочек, но, с другой стороны, ёлочки оставались зелёными круглый год и пользовались одни светом и солнцем, пока берёзки спали зимним сном.

— Бабушка, нам трудно,— жаловались Ёлочки каждую весну.— Одолеют нас берёзы летом. Они в одно лето вырастут больше, чем мы — в два года.

— Имейте терпение, детки! Ничего даром не даётся, а всё добывается тяжёлым трудом... Дружнее работайте!..

Кусты отступили первыми; им нечего было здесь делать. Они скромно исчезли, уступив место более сильным лесным породам. Молодому осиннику приходилось также плохо: его теснили берёзы.

— Вы что же это делаете? — спросили Осины.— Мы прежде вас пришли сюда, а вы нас же начинаете выживать... Это бессовестно!..

— Вы находите, что бессовестно? — смеялись весёлые Берёзки.— Только мы несколько не виноваты... Вас всё равно выгонят отсюда вот эти ёлочки, как только они подрастут. Вы уж лучше уходите сами подбру-поздорову и поищите себе другого места. Только мешаете нам.

— Мы им мешаем?! Мы им мешаем?! — шептали огорчённые листики бедной Осины. — Это называется просто нахальством. Вы пользуетесь правом сильного. Да... Когда-нибудь вы раскаетесь, когда самим придётся плохо...

— Ах, отстаньте, надоели! Некогда нам разговаривать с вами...

Плохо пришлось осинкам, когда их загнали в самый угол поруби: с одной стороны на них наступал молодой березняк, а с другой — молодая еловая поросль.

— Батюшки, погибаем! — кричали несчастные Осинки. — Господа, что же это такое? Двое на одного...

— Уходите! Уходите! — тысячами голосов кричали Ёлочки. — Вы нам только мешаете... Смешно плакать, когда идёт война. Нужно уметь умирать с достоинством, если нет сил жить...

— А где же у нас рябины и черёмухи? — спрашивал насмешник Ветер, прилетавший поиграть с молодыми берёзками. — Ах, бедные, они ушли совсем незаметно, чтобы никого не беспокоить...

Большой шалун был этот Ветер: каждую веточку по дороге нагнёт, каждый листочек поцелует и с весёлым свистом летит дальше. Ему и горя мало, как другие живут на свете, и только самому бы погулять. Правда, зимой, в холод, ему приходилось трудненько, и Ветер даже стонал и плакал, но ему никто не верил; это горе было только до первого весеннего луча.

Прошло пятьдесят лет.

От старой поруби не осталось и следа. На её месте поднималась зелёная рать молодых елей, рвавших в небо своими стрелками. Среди этой могучей хвойной зелени сиротами оставались кой-где старые берёзы, — на всю порубь их было не больше десятка. Там, где торжествовали смерть и разрушение, теперь цвела молодая жизнь, полная силы и молодого веселья. В этой зелени выделялась своей побуревшей вершиной одна старая Ель.

— Ох, детки, плохо мне... — часто жаловалась старушка, качая своей бурой вершиной. — Нехорошо так долго заживаться на свете. Все-му есть свой предел... Теперь я умру спокойно, в своей семье, — а то совсем было осталась на старости лет одна-одинёшенька.

— Бабушка, мы не дадим тебе умереть! — весело кричали молодые Ели. — Мы тебя будем защищать и от ветра, и от холода, и от снега.

— Нет, детки, устала я жить... Довольно. Меня уже точат и черви и жучки, а сверху разъедают кору лишайники.

— Тут, тук!.. — крикнул пёстрый Дятел, долбивший старую Ель своим острым клювом. — Где жучки? Где червячки? Тук... тук... тук... Я им задам!.. Тук... Не беспокойтесь, старушка, я их всех вытащу и скушаю... Тук!..

— Да ведь ты меня же долбишь, мою старую кору! — стонала Ель, возмущённая нахальством нового гостя. — Прежде в дупле жили белки, так те шишки мои ели, а ты долбишь меня, моё деревянное тело. Ах, приходит, видно, мой конец.

— Ничего. Тук!.. Я только червячков добу-
ду... Тук, тук, тук!..

Молодые ёлочки были возмущены бессове-
стностью дятла; но что поделаешь с нахалом,
который ещё уверяет, что трудится для пользы
других! А старая Ель только вздрагивала, ко-
гда в её дряблое тело впивался острый клюв.
Да, пора умирать.

— Детки, расскажу я вам, как я попала
сюда,— шептала старушка.— Давно это бы-
ло... Мои родители жили там, на горе, в камнях,
где так свистит холодный ветер. Трудно им при-
ходилось, особенно по зимам... Больше всех
обижал Ветер: как закрутит, как засвистит...
Северная сторона у елей вся была голая, а ниж-
ние ветви стлались по земле. Трудно было и
пищу добывать между камнями. Корни оплета-
ли камни и крепко держались за них. Ель — не-
прихотливое дерево и крепкое, не боится ни-
чего. Сосны и берёзы не смели даже взглянуть
туда, где мои родители зеленели стройной че-
той. Выше их росли только болотная горная
трава да мох... Красиво было там, на горе...
Да... На такую высоту только изредка забегали
белки да зайцы. Одна такая белка подобрала
между камнями спелую еловую шишку и ута-
щила сюда, в свой дом, и из этой шишки вы-
росла я. Здесь привольнее, чем на горе, хоть
и не так красиво. Вот моя история, детки...
Долго я жила и скажу одно, что мы, ели,—
самое крепкое дерево, а поэтому другие породы
и не могут нас одолеть. Сосна тоже хорошее
дерево, но не везде может расти... Вот пихты
и кедры — те одного рода с нами и также
ничего не боятся...

Все слушали старушку с приличным мол-
чанием, а папоротники широко простирали

свои листья-перья. В молодом лесу уже водво-
рились сырость и вечная полумгла, какие не-
обходимы этому красивому растению. О по-
левых цветах и весёлой зелёной травке не было
и помину, а от старых берёз оставались одни
гнилые пни, в которых жили мыши и землерой-
ки. Следы поруби исчезли окончательно.

Настал и роковой день. Это было среди
лета. С вечера ещё ветер нагнал тёмную тучу,
которая обложила половину неба. Всё притих-
ло в ожидании грозы, и только изредка налетал
ветер. В воздухе сделалось душно. Весело жур-
чала одна Безымянка; ветер принесёт ей новой
воды. Обновилась и зелёная травка, которую
несколько дней жгло солнце.

— Эй, берегись! — свистал Ветер, проно-
сясь по верхушкам елей.— Я вас всех утешу,
только стоять крепче.

Потом всё стихло. Сделалось совсем темно.
Где-то далеко грянул первый гром, а туча уже
закрыла всё небо. Ослепительно сверкнула мол-
ния, и раздался новый, страшный удар грома
прямо над лесом. Где-то что-то затрещало и
зашумело. Посыпались первые крупные капли
дождя, и рванулся ветер, а там — новый удар
грома. Эта канонада продолжалась в течение
целого часа, а когда она кончилась и буря
пронеслась, старая Ель лежала уже на земле.
Она рухнула под тяжестью прожитых лет и
старческого бессилия. Когда взошло солнце и
под его лучами ярко заблестела омытая дож-
дём зелень, не оказалось только одной бурой
вершины старой Ели...



СОДЕРЖАНИЕ

ЕМЕЛЯ-ОХОТНИК	3
ЗИМОВЬЕ НА СТУДЕНОЙ	15
ПРИЕМЫШ (Из рассказов старого охотника)	37
СЕРАЯ ШЕЙКА	50
ЛЕСНАЯ СКАЗКА	63

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

ЗИМОВЬЕ НА СТУДЕНОЙ

Рассказы и сказка

Для детей младшего школьного возраста

Редактор З. П. Петрушеня. Художественные редакторы В. В. Жук,
Г. Г. Малышев. Технический редактор С. А. Абрамчук. Корректор М. А. Под-
дубская.

ИБ № 414

Сдано в набор 10.10.83. Подп. к печати 10.01.84. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Высокая печать с ФПФ.
Усл. печ. л. 4,20. Усл. кр.-отт. 4,62. Уч.-изд. л. 3,08. Тираж 300 000 экз.
(1-й завод 1—150 000 экз.). Зак. 4092. Цена 10 к.

Издательство «Юнацтва» Государственного комитета БССР по делам
издательства, полиграфии и книжной торговли. 220600, Минск, проспект
Машерова, 11.

Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат МППО
им. Я. Коласа. 220005, Минск, Красная, 23.

10 к.

